

Бог Мелочей

Автор:

Арундати Рой

Бог Мелочей

Арундати Рой

Шорт-лист (АСТ)

Дебютный роман Арундати Рой, который заслуженно сравнивают с произведениями Фолкнера и Диккенса, – это современная классика, которую читают и любят по всему миру. Глубокая семейная сага, история запретной любви и пронзительная политическая драма, эта книга рассказывает о зажиточной индийской семье, жизнь которой раз и навсегда меняется в один судьбоносный день 1969 года. Приезд младшей двоюродной сестры Софи сотрясает мир семилетних близнецов Эсты и Рахель и приводит к случайным – и неслучайным – трагическим последствиям, которые учат их тому, что все вокруг может внезапно принять новые, уродливые формы и даже навсегда замереть на месте, – и лишь река будет продолжать нести свои воды...

Арундати Рой

Бог Мелочей

«THE GOD OF SMALL THINGS» by Arundhati Roy

Издание публикуется с разрешения

David Godwin Associates Ltd и Synopsis Literary Agency

© Arundhati Roy, 1997

© Мотылев Л. Ю., перевод, примечания, 1999

© ООО «Издательство АСТ», 2015

* * *

Мэри Рой, которая вырастила меня.

Которая научила меня извиняться перед тем, как перебить ее Публично.

У которой хватило любви ко мне, чтобы отпустить меня.

ЛКС – от той, что, как ты, выжила.

Никогда больше отдельно взятая повесть не будет рассказана так, словно она – единственная.

Джон Берджер

1. Райские соленья и сладости

Май в Аие?менеме – знойный, тяжелый месяц. Дни длинные и паркие. Река мелеет, и черные вороны набрасываются на яркие плоды манго в пыльно-зеленых застывших кронах. Зреют розовые бананы. Лопаются плоды хлебного дерева. Праздные синие мухи пьяно гудят в приторном воздухе. Потом с лёта ударяются в оконные стекла и дохнут, недоуменно раздуваясь на солнце.

Ночи ясные, но отравленные ленью и угрюмым предчувствием.

В начале июня юго-западный муссон приносит три месяца ветра и воды с короткими проблесками ослепительного солнца, когда взбудораженные дети спешат наиграться. Земля сдается на милость бешеной зелени. Границы размываются: маниоковые изгороди пускают корни и зацветают. Кирпичные стены становятся мшисто-зелеными. Перечные лианы взбираются по столбам линий электропередачи. Ползучие растения прорывают плотный прибрежный латерит и перекидывают стебли через полотно залитых водой дорог. По базарным площадям снуют лодки. В рытвинах, оставленных дорожными рабочими, заводятся мальки.

В такую-то дождливую погоду Рахель вернулась в Айеменем. Косые серебристые канаты хлестали рыхлую землю, вспахивая ее, как пулеметные очереди. Старый дом на пригорке низко, как шапку, надвинул от дождя крутую двускатную крышу. Стены с прожилками мха утратили твердость и слегка вспучились, напитавшись влагой от земли. Заросший, одичавший сад был полон шмыганья и шелеста мелких существ. В траве полоз терся о блестящий камень. Желтые лягушки бороздили пенящийся пруд в надежде найти пару. Вымокший мангуст перебежал засыпанную листьями подъездную дорожку.

Дом казался пустым и заброшенным. Двери и ставни были заперты, передняя веранда оголена. Мебель оттуда вынесли. Но лазурного цвета «плимут» с хромированными крылышками по-прежнему стоял около дома, а в доме по-прежнему жила Крошка-кочамма?.

Это была двоюродная бабушка Рахели, младшая сестра ее деда. Настоящее ее имя было Навоми, Навоми Айп, но все с детства звали ее Крошкой. Повзрослев, она стала Крошкой-кочаммой, то есть Крошкой-тетушкой. Рахель, однако, приехала вовсе не к ней. Ни внучатная племянница, ни двоюродная крошка-бабушка не питали на этот счет никаких иллюзий. Рахель приехала повидать брата Эсту. Они были двуйайцевые близнецы. Врачи говорили – «дизиготные». Произшедшие от разных, но одновременно оплодотворенных яйцеклеток. Эста (полное имя – Эстаппен) был старше на восемнадцать минут.

Они – Эста и Рахель – вовсе не были так уж похожи внешне и даже в тонкоруко-плоскогрудом детстве с его глистами и зачесами под Элвиса Пресли не вызвали обычных вопросов типа «Кто – он, кто – она?» ни у слащаво-улыбчивых родственников, ни у епископов Сирийской православной церкви,

которые частенько навещали в их Айменемский Дом за жертвоприношениями.

Путаница крылась глубже, в более потаенных местах.

В те ранние, смутные годы, когда память только зарождалась, когда жизнь состояла из одних Начал без всяких Концов, когда Всё было Навсегда, Я означало для Эстаппена и Рахели их обоих в единстве, Мы или Нас – в раздельности. словно они принадлежали к редкой разновидности сиамских близнецов, у которых слиты воедино не тела, а души.

Рахель и сейчас, хотя прошло много лет, помнит, как однажды проснулась ночью, хихикая из-за приснившегося Эсте смешного сна.

Есть у нее и другие воспоминания, на которые она не имеет права.

Она помнит, к примеру (хоть и не была рядом), как Апельсиново-Лимонный Газировщик обошелся с Эстой в кинотеатре «Абхилаш». Она помнит вкус сэндвичей с помидором – сэндвичей Эсты, которые он ел в Мадрасском Почтовом по пути в Мадрас.

И это только лишь мелочи.

Но сейчас она мысленно называет Эсту и Рахель Они, потому что по отдельности и тот и другая уже не такие, какими Они были или когда-либо намеревались стать.

Ничего общего.

Их жизни теперь обрели очертания. Свои – у Эсты, свои – у Рахели.

Края, Границы, Контур, Рубежи и Пределы ватагами троллей возникли на их отдельных горизонтах. Коротышки, отбрасывающие длинные тени и патрулирующие Размытую Область. Под глазами у близнецов темнеют нежные полумесяцы; им столько же лет, сколько было Амму?, когда она умерла. Тридцать один.

Не старость.

Не молодость.

Жизнесмертный возраст.

Эста и Рахель, можно сказать, едва не родились в автобусе. Машина, в которой Баба?, их отец, вез Амму, их мать, в родильный дом в Шиллонг, сломалась на дороге, круто петлявшей среди чайных плантаций штата Ассам. Они вышли на дорогу и, размахивая руками, остановили переполненный рейсовый автобус. Проявляя своеобразное сочувствие очень бедных к сравнительно богатым, – а может быть, просто потому, что видели, какой необъятный живот у Амму, – сидячие пассажиры уступили супругам место, и всю дорогу отцу Эсты и Рахели приходилось держать руками живот их матери (с ними самими внутри), смягчая тряску. Это, естественно, было до того, как они развелись и Амму вернулась к родным в южный штат Керала.

Послушать Эсту, так если бы они и вправду родились в автобусе, им всю жизнь можно было бы кататься на автобусах бесплатно. Непонятно было, откуда он это знает, где получил такую информацию, но, так или иначе, близнецы не один год слегка сердились на родителей за то, что они лишили их этой привилегии.

А еще они были уверены, что если бы их сбила машина на «зебре» для пешеходов, Государство оплатило бы похороны. Они определенно полагали, что для этого-то «зебры» и существуют. Для бесплатных похорон. Конечно, таких «зебр» в Айеменеме не было, как не было их даже в ближайшем городе Коттаяме, однако близнецы видели их иногда в окно машины, когда ездили в Кочин, до которого было два часа пути.

Правительство не оплатило похорон Софи-моль, потому что она погибла не на «зебре». Заупокойная служба прошла в Айеменеме, в старой церкви, которую незадолго до того вновь покрасили. Софи-моль была двоюродной сестрой Эсты и Рахели, дочерью их дяди Чакко. Она приехала к ним в гости из Англии. Когда она умерла, Эсте и Рахели было семь лет. Софи-моль было почти девять. Для нее сделали специальный детский гробик.

Обитый внутри атласом.

С латунными ручками.

Она лежала в нем в своих желтых кримпленовых брючках клеш, со стянутыми лентой волосами, со своей любимой стильной английской сумочкой. Ее лицо было бледное и сморщенное, как палец дхоби[1 - Дхоби (хинди) – мужчина-прачка. Здесь и далее – примечания переводчика.], который долго не вынимал рук из воды. На панихиду собралась чуть не вся община, и от заупокойного пения желтая церковь распухла, как больное горло. Священнослужители с курчавыми бородами махали кадилами с курящимся ладаном и не улыбались детям так, как улыбались в обычные воскресенья.

Длинные свечи перед алтарем были изогнуты. Короткие – нет.

Старая женщина, изображающая из себя дальнюю родственницу (никто не знал, кто она такая, но она часто появлялась у гроба на панихидах – похоронная наркоманка? скрытая некрофилка?), смочила ватку одеколоном и мягко-благочестиво-вызывающе провела ею по лбу Софи-моль. Мертвая девочка пахла одеколоном и гробовой древесиной.

Маргарет-кочамма, английская мать Софи-моль, не позволила Чакко, биологическому отцу умершей, обнять себя за плечи.

Семья стояла в церкви маленькой кучкой. Маргарет-кочамма, Чакко, Крошка-кочамма, а рядом с ней ее невестка Маммачи – бабушка Эсты, Рахели и Софи-моль. Маммачи была почти слепая и вне дома всегда носила темные очки. Слезы стекали из-за очков по щекам и дрожали у нее на подбородке, как дождевые капли на карнизе. В своем кремовом накрахмаленном сари она выглядела маленькой и больной. Чакко был ее единственный сын. Ее собственное горе мучило ее. Его горе убивало ее.

Хотя Амму, Эсте и Рахели разрешили прийти на отпевание, они должны были стоять отдельно от остальной семьи. Никто не смотрел на них.

В церкви было жарко, и лепестки белых лилий уже подсыхали и заворачивались по краям. В чашечке гробового цветка умерла пчела. Руки Амму ходили ходуном, а с ними вместе – ее молитвенник. Кожа у нее была холодная. Эста

в полубморке стоял к ней вплотную, его остекленевшие глаза болели, его горящая щека прижималась к голой дрожащей руке Амму, в которой та держала молитвенник.

Рахель, напротив, яростно, из последних сил бодрствовала, вся – как натянутая струна из-за выматывающей битвы с Реальной Жизнью.

Она заметила, что ради собственного отпевания Софи-моль очнулась. Она показала Рахели Одно и Другое.

Одно – это был заново выкрашенный высокий купол желтой церкви, на который Рахель никогда раньше не смотрела изнутри. Купол был голубой, как небо, по нему плыли облака и со свистом неслись крохотные реактивные самолетки, оставляя среди облаков перекрестные белые следы. Все это, разумеется, куда легче заметить, лежа в гробу лицом вверх, чем стоя в тесной толпе среди горестных бедер и молитвенников.

Рахель задумалась о человеке, который ухитрился забраться на такую верхотуру с ведрами краски – белой для облаков, голубой для неба, серебристой для самолетиков, – да еще с кистями и растворителем. Она вообразила, как он там лазает, голоспинный и блестящий, похожий на Велютту, как он сидит на доске, подвешенной к лесам под куполом церкви, и рисует серебристые самолетки в голубом церковном небе.

Она задумалась о том, что было бы, если бы веревка оборвалась. Вообразила, как он падает, темной звездой прочерчивая им же сотворенное небо. Потом лежит весь переломанный на горячем церковном полу, выплеснув на него из черепа темную, потаенную кровь.

К тому времени Эстаппен и Рахель уже успели кое-что узнать о способах ломки людей. Они успели познакомиться с запахом. Тошнотворная сладость. Словно от старых роз принесло ветром.

Другое из того, что Софи-моль показала Рахели, – это был крошечный летучий мышонок.

Пока шла заупокойная служба, Рахель наблюдала, как черный зверек, деликатно цепляясь кривыми коготками, лезет вверх по дороговому траурному сари Крошки-

кочаммы. Когда он прополз между сари и короткой блузкой и добрался до голого живота с его многолетними дряблыми отложениями печали, Крошка-кочамма закричала и замахала молитвенником. Пение смолкло, сменившись недоуменными «чтотакое» и «чтослучилось», мохнатой возней и хлопаньем сари.

Скорбные священнослужители принялись расчесывать курчавые бороды пальцами в золотых перстнях, как если бы незримые пауки вдруг сплели там паутину.

Летучий мышонок взмыл в небеса и превратился в реактивный самолетик без перекрещенного следа.

Рахель одна из всех увидела, как Софи-моль тайком крутанулась в гробу.

Скорбное пение возобновилось, и второй раз был произнесен тот же скорбный стих. Вновь желтая церковь распухла от голошения, как больное горло.

Когда Софи-моль опускали в землю на маленьком кладбище позади церкви, Рахель знала, что она еще не умерла. Рахель слышала (ушами Софи-моль) мягкие звуки красной глины и твердые звуки оранжевого латерита, падавших комьями и портивших блестящую полировку гроба. Глухие толчки доносились до нее сквозь деревянную полированную крышку, сквозь атласную обивку. Заглушаемые землей и древесиной, звучали скорбные голоса священников.

Влагаем в руки Твои, всемилостивейший Отче,

Отлетевшую душу дочери нашей,

Смертное же тело опускаем в могилу –

Земля к земле, прах ко праху, персть к персти.

Там, в глубине земли, Софи-моль кричала и раздирала атлас зубами. Но крики невозможно было расслышать сквозь слой глины и камней.

Софи-моль умерла, потому что ей нечем было дышать.

Ее убили похороны. Персть – шерсть, персть – шерсть, персть – шерсть.
На могильном камне было написано: «Лучик, просиявший так мимолетно».

Амму потом объяснила, что «так мимолетно» значит «на короткое время».

После похорон Амму повезла близнецов в Коттаям, в полицейский участок. Это место было уже им знакомо. Накануне они провели там немалую часть дня. Помня едкий, дымный запах застарелой мочи, который шел там от стен и мебели, они заранее зажали пальцами ноздри.

Амму спросила, на месте ли начальник участка, и, когда ее провели к нему в кабинет, сказала, что произошла ужасная ошибка и что она хочет сделать заявление. Потом спросила, нельзя ли увидеть Велютту.

Усы у инспектора Томаса Мэтью топорщились, как у добродушного махараджи с рекламы авиакомпании «Эйр Индия», но глаза у него были хитрые и жадные.

– Не поздновато ли, а? – спросил он. Он говорил на малаялам[2 - Малаялам – язык народа малаяли, населяющего штат Керала в южной Индии, где происходит действие романа.], на грубом коттаямском диалекте, и смотрел при этом на груди Амму. Он сказал, что коттаямская полиция знает все, что ей нужно знать, и не принимает никаких заявлений от вешья[3 - Вешья (хинди) – проститутка.] и от их приبلудных детей. Амму сказала, что это ему даром не пройдет. Инспектор Томас Мэтью обошел свой письменный стол и приблизился к Амму с дубинкой в руке.

– Я бы на вашем месте, – проговорил он, – возвращался домой подброду-поздорову.

Потом он дотронулся дубинкой до ее груди. Легонько. Раз, два. Как будто выбирал манго из базарной корзинки. Вот эти – к его столу. Инспектор Томас Мэтью, видно, знал, кого можно тронуть, а кого нет. Инстинкт полицейского.

Позади него висел красно-синий плакат:

Прямота

Опыт

Лояльность

Интеллект

Целеустремленность

Истина

Ясность

Когда они вышли из участка, Амму плакала, поэтому Эста и Рахель не стали спрашивать ее, что такое вешья. И что такое прибудные. Впервые в жизни они видели, как мать плачет. Рыданий не было слышно. Лицо оставалось каменно-застывшим, но слезы текли и текли из глаз и сбегали по неподвижным щекам. От этого зрелища детей захлестнуло страхом. Плач Амму сделал реальным все, что до сих пор казалось нереальным. Они возвращались в Айеменем автобусом. Кондуктор, худой человек в хаки, приблизился к ним, скользя рукой по стальному поручню. Прислонившись костлявым бедром к спинке сиденья и глядя на Амму, он щелкнул компостером. В смысле, куда вам? Рахель чувствовала бумажный запах от рулончика билетов и кислометаллический запах поручней от ладоней кондуктора.

- Он умер, - шепнула ему Амму. - Я его убила.

- Айеменем, - поспешил сказать Эста, пока кондуктор не рассердился. Он вынул деньги из кошелька Амму. Кондуктор дал ему билеты. Эста тщательно сложил их и засунул в карман. Потом обхватил маленькими ручонками свою окаменевшую, плачущую мать.

Через две недели Эсту Отправили. Амму принудили отослать его к их отцу, который к тому времени уже ушел с работы на отдаленной чайной плантации

в штате Ассам и переехал в Калькутту, где устроился на предприятие по производству газовой сажи. Он женился вторично, перестал пить (более или менее) и срывался в запой лишь изредка.

С той поры Эста и Рахель не видели друг друга.

И вот теперь, двадцать три года спустя, их отец Отправил сына Назад. Он послал Эсту в Айеменем с чемоданом и письмом. Чемодан был полон модной одежды с иголки. Письмо Крошка-кочамма дала Рахели прочесть. Оно было написано женским наклонным почерком, вызывавшим в памяти монастырскую школу, но подпись в самом низу была отцовская. Фамилия по крайней мере. Рахель ведь не знала подписи отца. Письмо гласило, что он, их отец, уволился с прежней работы и собирается эмигрировать в Австралию, где ему предложили должность начальника охраны на керамической фабрике; взять с собой Эсту он не может. Он шлет всем в Айеменем наилучшие пожелания и обещает, что заедет повидаться с Эстой, если когда-либо вернется в Индию, что, по правде говоря, маловероятно.

Крошка-кочамма сказала Рахели, что она может взять письмо себе, если хочет. Рахель положила его обратно в конверт. Бумага сделалась дряблой и похожей на ткань.

Она успела позабыть, каким влажным бывает воздух в Айеменеме во время муссонов. Набухшая мебель трещала. Закрытые окна распахивались со стуком. Книжные страницы становились мягкими и волнистыми. Вечерами, как внезапные догадки, влетали странные насекомые и сгорали на тусклых сорокаваттных лампочках Крошки-кочаммы. Утром их ломкие обугленные трупы валялись на полу и подоконниках, и пока Кочу Мария не заметала их в пластмассовый совок и не выбрасывала, в воздухе пахло Паленым.

Они, эти Июньские Дожди, остались, какими были.

Обрушиваясь с разверзшихся небес, вода насильно возвращала к жизни брюзгливый старый колодец, расцветчивала мшистой зеленью заброшенный свинарник, бомбардировала застойные, чайного цвета лужи, как память бомбардирует застойные, чайного цвета рассудки. Трава была сочно-зеленая и довольная на вид. В жидкой грязи блаженствовали багровые земляные черви.

Крапива кивала. Деревья клонили кроны.

А там, поодаль, на берегу реки, среди ветра, дождя и дневной шквалистой тьмы, расхаживал Эста. На нем была футболка цвета давленной клубники, теперь мокрая и потемневшая, и он знал, что Рахель вернулась.

Эста всегда был тихим мальчиком, поэтому никто не мог сказать хоть с какой-то степенью точности, когда (даже в каком году, не говоря уже о месяце и дне) он перестал говорить. То есть совсем умолк. В том-то и дело, что не было такого момента. Он не сразу прикрыл лавочку, а сворачивал дело постепенно. Еле заметно убавлял звук. Словно он истощил запас общения и теперь говорить стало вовсе не о чем. Однако молчание Эсты было лишено всякой неловкости. Оно не было вызывающим. Не было громким. Не обвиняющее, не протестующее молчание – нет, скорее оцепенение, спячка, психологический эквивалент состояния, в которое впадают двоякодышащие рыбы, чтобы пережить сухую пору, только вот для Эсты сухая пора, казалось, будет длиться бесконечно.

Со временем он развил в себе способность, где бы он ни находился, сливаться с фоном – с книжными полками, деревьями, занавесками, дверными проемами, стенами домов – и стал казаться неодушевленным, сделался почти невидим для поверхностного взгляда. Чужие люди, находясь с ним в одной комнате, обычно не сразу его замечали. Еще больше времени им требовалось, чтобы понять, что он не говорит. До иных это так и не доходило.

Эста занимал в мире очень немного места.

После похорон Софи-моль, когда Эсту Отправили, их отец отдал его в школу для мальчиков в Калькутте. Он не был отличником, но не был и отстающим, по всем предметам более или менее успевал. «Удовлетворительно», «Работает на среднем уровне» – таковы были обычные отзывы учителей в ежегодных характеристиках. Постоянной жалобой было: «Не участвует в классных мероприятиях». Хотя что это за классные мероприятия, никогда не объяснялось.

Окончив школу с посредственными оценками, Эста отказался поступать в колледж. Вместо этого он, к немалому изумлению отца и мачехи, принялся делать домашнюю работу. Словно хотел таким способом возместить затраты

на свое содержание. Он подметал и мыл полы, взял на себя всю стирку. Он научился готовить, стал ходить на базар за продуктами. Торговцы, сидевшие за своими пирамидами из лоснящихся маслянистых овощей, узнавали его и обслуживали без очереди, несмотря на ругань других покупателей. Они давали ему ржавые жестянки из-под киноплёнки, чтобы складывать отобранные овощи. Он никогда не торговался. Они никогда его не обманывали. Когда овощи были взвешены и оплачены, торговцы перекладывали их в его красную пластмассовую корзину (лук на дно, баклажаны и помидоры – наверх) и всегда давали ему бесплатно пучок кинзы и несколько стручков жгучего перца. Эста вез покупки домой в переполненном трамвае. Пузырек тишины в океане шума.

Когда сидели за столом и ему хотелось чего-нибудь, он вставал и накладывал себе сам.

Возникнув в Эсте, молчание копилось и ширилось в нем. Оно тянуло свои текучие руки из его головы и обволакивало все тело. Оно качало его в древнем, эмбриональном ритме сердцебиения. Оно потихоньку распространяло внутри его черепа свои осторожные ветвистые щупальца, ликвидируя, словно пылесосом, неровности памяти, изгоняя старые фразы, похищая их с кончика языка. Оно лишало его мысли словесной одежды, оставляя их нагими и оцепеневшими. Непроизносимыми. Немыми. Для внешнего наблюдателя едва ли вообще существующими. Медленно, год за годом Эста отдалялся от мира. Ему стал привычен этот осьминог, бесцеремонно обосновавшийся в нем и прыскавший на его прошлое транквилизатором чернильного цвета. Мало-помалу первопричина немоты стала ему недоступна, погребенная где-то среди глубоких, спокойных складок молчания как такового.

Когда Кхубчанд, его любимый, слепой, плешивый, писающийся беспородный пес семнадцати лет от роду, решил не откладывать дальше свою горемычную кончину, Эста так ухаживал за ним на последнем, мучительном отрезке пути, словно дело шло о его собственной жизни. В предсмертные месяцы Кхубчанд, чьим наилучшим намерениям мешал осуществиться крайне ненадежный мочевого пузырь, из последних сил волочился к собачьей калитке, висевшей на петлях в нижней части двери, что вела на задний двор; толкнув калитку носом, он просовывал наружу только голову и мочился в доме неровной, петляющей ярко-желтой струей. После чего с пустым мочевым пузырем и чистой совестью пес бросал на Эсту взгляд своих тускло-зеленых глаз, стоявших как тинистые пруды посреди седой старческой поросли, и ковылял обратно

к сырой подстилке, оставляя на полу мокрые следы. Когда умирающий Кхубчанд лежал на своей подстилке, Эста мог видеть окно спальни, отраженное в его гладких багровых глазных яблоках. И небо за окном. А однажды – пролетающую мимо птицу. Чудом показался Эсте, погруженному в запах старых роз, напитанному памятью о переломанном человеке, тот факт, что нечто столь хрупкое, столь невыносимо нежное смогло сохраниться, имело право на существование. Птица в полете, отраженная в глазах умирающей собаки. Мысль заставила его громко рассмеяться.

Когда Кхубчанд умер, Эста принялся расхаживать. Он расхаживал без отдыха часами. Поначалу поблизости от дома, но с каждым разом удаляясь все больше и больше.

Люди привыкли видеть его на улицах. Чисто одетый мужчина со спокойной походкой. Его лицо потемнело и обветрилось. Загрубело от солнца. На нем появились морщинки. Эста начал выглядеть более умудренным, чем был на самом деле. Как забредший в город рыбак. Человек, которому ведомы морские тайны.

Теперь, когда его Отправили Назад, Эста расхаживал по Айеменему.

Иногда он бродил по берегам реки, которая пахла фекалиями и купленными на займы от Всемирного банка пестицидами. Почти вся рыба в ней погибла. Уцелевшие экземпляры страдали от плавниковой гнили и были покрыты волдырями.

В другие дни он шел по улице. Мимо новеньких, только что выпеченных, глазированных домиков, построенных на нефтяные деньги медсестрами, каменщиками, электриками и банковскими служащими, которые тяжело и несчастливо трудились в странах Персидского залива. Мимо обиженных старых строений, позеленевших от зависти, укрывшихся в конце своих частных подъездных дорожек под своими частными каучуковыми деревьями. Каждое – пришедшая в упадок феодальная вотчина со своей историей.

Он шел мимо сельской школы, которую его прадед построил для неприкасаемых.

Мимо желтой церкви, где отпевали Софи-моль. Мимо Айеменемского молодежного клуба борьбы кун-фу. Мимо детского сада «Нежные бутоны» (для прикасаемых), мимо торговавшего по карточкам магазина, где можно было купить рис, сахар и бананы, висевшие под крышей желтыми гроздьями. К натянутым веревкам бельевыми прищепками были прикреплены дешевые эротические издания с разнообразными мифическими южноиндийскими секс-монстрами. Журнальчики лениво поворачивались на теплом ветру, соблазняя бесхитростных предъявителей карточек взглядами голых пышнотелых красоток, лежащих в лужах поддельной крови.

Иногда Эста шел мимо типографии «Удача», принадлежавшей пожилому К. Н. М. Пиллею – товарищу Пиллею; раньше там базировалась айеменемская ячейка марксистской партии, проводились полуночные инструктивные собрания, печатались и распространялись брошюры и листовки с зажигательными текстами коммунистических песен. Колыхавшийся над крышей флаг теперь выглядел старым и потрепанным. Кумач выцвел от солнца.

Что касается самого товарища Пиллея, он выходил поутру из дома в старой сероатой майке из эйртекса и мунду[4 - Мунду – традиционная одежда наподобие юбки, спускающейся ниже колен. Мунду носят и мужчины, и женщины.] из мягкой белой ткани, скульптурно облегающей его мужские части. Он умащал себя нагретым и приперченным кокосовым маслом, втирая его в дряблую стариковскую плоть, которая тянулась, как жевательная резинка. Он жил теперь один. Его жена Кальяни умерла от рака яичников. Его сын Ленин переехал в Дели, где работал подрядчиком, обслуживая иностранные посольства.

Если товарищ Пиллей, когда Эста шел мимо, натирался маслом на свежем воздухе, он не упускал случая поприветствовать проходящего.

– Эста-мон! – кричал он своим высоким пронзительным голосом, теперь, однако, волокнистым и обмахрившимся, как тростниковая дудочка, с которой счистили кожицу. – Доброго утрачка! Ежедневная прогулка, да?

Эста шел мимо него – и не грубый, и не вежливый. Просто безмолвный.

Товарищ Пиллей хлопывал себя руками сзади и спереди, стимулируя кровообращение. Ему неясно было, узнал ли его Эста после стольких лет. Не то

чтобы это его особенно заботило. Хотя его роль во всей истории была отнюдь не второстепенной, товарищ Пиллей ни в малейшей степени не считал себя лично виновным в чем бы то ни было. Он списал случившееся по разряду Неизбежных Издержек Взятой Политической Линии. Старая песня насчет леса и щепок. Товарищ К. Н. М. Пиллей был, надо сказать, до мозга костей политиком. Профессиональным лесорубом. Он пробирался по жизни, как хамелеон. Всегда в маске, но всегда якобы открытый. Открытый на словах, но отнюдь не на деле. Без особых потерь сквозь любую заваруху.

Он первым в Айеменеме узнал о возвращении Рахели. Новость не столько встревожила его, сколько возбудила его любопытство. Эста был для товарища Пиллея, можно сказать, чужаком. Его изгнание из Айеменема было стремительным и бесцеремонным, и произошло оно очень давно. Но Рахель товарищ Пиллей знал хорошо. Она росла у него на глазах. Он задумался о том, что побудило ее вернуться. После стольких лет.

* * *

До приезда Рахели в голове у Эсты была тишина. Приехав, она принесла с собой шум встречных поездов и мельканье пятен света и тени, словно ты сидишь у окна вагона. Мир, от которого Эста так долго был отгорожен запертой дверью, внезапно хлынул внутрь, и теперь Эста не мог слышать самого себя из-за шума. Поезда?. Машины. Музыка. Фондовая биржа. Точно прорвало какую-то дамбу и все понеслось в кружении бешеной воды. Кометы, скрипки, парады, одиночество, облака, бороды, фанатики, списки, флаги, землетрясения, отчаяние – все смешалось в этом свирепом водовороте.

Вот почему Эста, идя по берегу реки, не чувствовал, что на него льет и льет дождь, не чувствовал внезапную дрожь в тельце озябшего щенка, который прибил к нему на время и жался к его ногам, семеня по лужам. Эста шел мимо старого мангустана до конца узкого латеритного мыса, омываемого рекой. Там он сидел на корточках под дождем и раскачивался взад-вперед. Жидкая грязь под его ногами грубо хлюпала. Продрогший щенок трясся – и смотрел.

К тому времени, как Эсту Отправили Назад в Айеменемский Дом, там осталось только два человека: Крошка-кочамма и желчная, раздражительная карлица-кухарка Кочу[5 - Кочу (малаялам) – маленькая.] Мария. Маммачи, бабушка Эсты

и Рахели, уже умерла. Чакко уехал жить в Канаду, где без особого успеха торговал индийской стариной.

Теперь о Рахели.

Когда умерла Амму (незадолго до смерти она в последний раз приехала в Айеменем, опухшая от кортизона, издававшая при вдохе и выдохе странный звук, похожий на человеческий крик издали), Рахель поплыла. Из одной школы в другую. Выходные она проводила в Айеменеме, где ее почти напрочь игнорировали Чакко и Маммачи (они обмякли от горя, тяжело осели от утраты, как пара пьяниц за столиком тодди-бара[б - Тодди - разновидность пунша.]) и где она почти полностью игнорировала Крошку-кочаму. В том, что касалось Рахели, Чакко и Маммачи были мало на что способны. Они заботились о ней материально (еда, одежда, плата за учебу), но были безразличны душевно.

Утрата Софи-моль тихо расхаживала по Айеменемскому Дому в одних носках. Она пряталась в книжках, в пище. В скрипичном футляре Маммачи. В болячках на икрах у Чакко, которые он постоянно ковырял. В его по-женски дряблых ногах.

Странно, что иногда память о смерти живет намного дольше, чем память о жизни, которую она оборвала. С годами память о Софи-моль (искательнице малых мудростей: Где умирают старые птицы? Почему умершие не хлопаются с неба нам на головы? Вестнице жестоких истин: Вы - целиком черномазые, а я только половинка. Гуру горя: Я видела человека, которого сбила машина, у него глаз болтался на нерве, как чертик на ниточке) постепенно блекла, но Утрата Софи-моль все тучнела и наливалась силой. Она всегда была на виду. Как плод в пору спелости. Нескончаемой спелости. Она была постоянна, как государственная служба. Она вела Рахель сквозь детство (из одной школы в другую) во взрослую жизнь.

Рахель впервые попала в черный список в одиннадцать лет в школе при Назаретском женском монастыре, когда она украшала цветочками свежую коровью лепешку у калитки в садик старшей воспитательницы и была обнаружена за этим занятием. На следующее утро на общем собрании ее заставили найти в Оксфордском словаре английского языка слово «греховность» и вслух прочесть его значение. Свойство или состояние человека, нарушающего нравственные установления, - читала Рахель; позади нее шеренгой сидели монашенки с поджатыми губами, впереди колыхалось море хихикающих

девичьих лиц. – Вина перед Господом; моральная ущербность; изначальная испорченность человеческой природы вследствие первородного греха.

«Как избранники, так и отверженцы являются в мир в состоянии абсолютной г. и отчуждения от Господа и сами по себе способны только на грех». Дж. Х. Блант.

Через шесть месяцев ее исключили из-за неоднократных жалоб со стороны старших девочек. Ее обвинили (вполне справедливо) в том, что она пряталась за дверьми и нарочно сталкивалась со входящими старшеклассницами. Допрошенная директрисой (с применением уговоров, побоев, лишения пищи), она наконец созналась, что хотела таким способом выяснить, болят ли у них от столкновения груди. В этом христианском заведении считается, что никаких грудей и в помине нет. Они вроде бы не существуют, а раз так, могут ли они болеть?

Это было первое из трех исключений. Второе – за курение. Третье – за поджог пучка накладных волос старшей воспитательницы, в похищении которого Рахель созналась после допроса с пристрастием.

Во всех школах, где она училась, педагоги отмечали, что она

а) чрезвычайно вежлива,

б) ни с кем не дружит.

Испорченность проявляла себя в учтиво-обособленной форме. Из-за чего данный случай, в один голос говорили они (смакуя свое учительское неодобрение, ощупывая его языком, обсасывая, как леденец), выглядел тем более серьезным.

Такое впечатление, шептались они между собой, что она не умеет быть девочкой.

Они, в общем, были недалеко от истины.

Станным образом результатом взрослого пренебрежения стала душевная свобода.

Никем не наставляемая, Рахель росла как трава. Никто не подыскивал ей мужа. Никто не собирался давать за ней приданое, поэтому на горизонте не маячил принудительный брак.

Так что, если не слишком высовываться, она была свободна для своих личных изысканий. Темы: груди, и сильно ли они болят; накладные пучки, и ярко ли они горят; жизнь, и как ее прожить.

Окончив школу, она сумела поступить в делийский архитектурный колледж средней руки. Не сказать, чтобы она испытывала к архитектуре серьезный интерес. Или даже поверхностное любопытство. Просто получилось так, что она выдержала вступительный экзамен и прошла по конкурсу. На преподавателей произвели впечатление огромные габариты ее не слишком умелых натюрмортов углем. Беспечную размашистость линий они ошибочно приняли за уверенность художника, хотя, по правде говоря, художнической жилки у Рахели не было.

Она проучилась в колледже восемь лет, так и не сумев одолеть пятилетний курс и получить диплом. Плата за обучение была низкая, и наскрести на жизнь было, в общем, нетрудно, если жить в общежитии, питаться в субсидируемой студенческой столовке, ходить на занятия от случая к случаю и работать чертежницей в унылых архитектурных фирмах, эксплуатирующих дешевый труд студентов, на которых, если что не так, всегда можно свалить вину. Других студентов, особенно юношей, пугало своеобразие Рахели и ее почти яростное нежелание быть амбициозной. Они обходили ее стороной. Они никогда не приглашали ее в свои милые дома, на свои шумные вечеринки. Даже преподаватели немного побаивались Рахели с ее замысловатыми, непрактичными строительными проектами, представляемыми на дешевой оберточной бумаге, и с ее безразличием к жаркой критике с их стороны.

Время от времени она писала Чакко и Маммачи в Айеменем, но ни разу туда не приехала. Даже на похороны Маммачи. Даже на проводы Чакко, уезжавшего в Канаду.

Как раз во время учебы в архитектурном колледже и случилось у нее знакомство с Ларри Маккаслином, который собирал в Дели материалы для своей докторской диссертации «Энергетическая напряженность в национальной архитектуре». Он приметил Рахель в библиотеке колледжа, а потом, несколько дней спустя, – на рынке Хан-маркет. Она была в джинсах и белой футболке. Кусок старого лоскутного покрывала был накинут на ее плечи, как пелеринка, и застегнут

спереди пуговицей. Ее буйные волосы были туго стянуты сзади, чтобы казалось, будто они прямые, хотя прямыми они не были. На одном из крыльев носа у нее поблескивал крохотный брильянтик. У нее были до нелепости красивые ключицы и симпатичная спортивная походка.

Следуй за джазовой мелодией, подумал про себя Ларри Маккаслин и пошел за ней в книжный магазин, где они оба даже не взглянули на книги.

Когда он предложил ей руку и сердце, Рахель облегченно вздохнула, как пассажир, увидевший свободное место в зале ожидания аэропорта. С ощущением: Можно-Наконец-Сесть. Он увез ее с собой в Бостон.

Когда высокий Ларри обнимал жену, прижавшись щекой к его сердцу, он мог видеть ее макушку, черную мешанину ее волос. Приложив палец к уголку ее рта, он чувствовал крохотный пульс. Ему нравилось, что он бьется именно здесь. Нравилось само это слабенькое, неуверенное подпрыгиванье прямо под ее кожей. Он трогал это место, вслушиваясь глазами, как нетерпеливый отец, ощущающий толчки ребенка в утробе жены.

Он обнимал ее, как дар. Как любовно врученное ему сокровище. Тихое маленькое создание. Невыносимо ценное.

Но когда он лежал с ней, его оскорбляли ее глаза. Они вели себя так, словно принадлежали не ей, а кому-то другому. Постороннему зрителю. Который смотрит в окно на морские волны. Или на плывущую по реке лодку. Или на идущего сквозь туман прохожего в шляпе.

Он досадовал, потому что не понимал, что означает этот взгляд. Ему казалось – нечто среднее между бесчувственностью и отчаянием. Он не знал, что есть на свете места – например, страна, в которой родилась Рахель, – где разные виды отчаяния оспаривают между собой первенство. Не знал, что личное отчаяние – это еще слабейший его вид. Не знал, как оно бывает, когда личная беда пытается пристроиться под боком у громадной, яростной, кружащейся, несущейся, смехотворной, безумной, невозможной, всеохватной общенациональной беды. Что Большой Бог завывает, как горячий ветер, и требует почтения к себе. Тогда Малый Бог (уютный и сдержанный, домашний и частный) плетется восвояси, ошеломленно посмеиваясь над своей глупой отвагой. Проникшись сознанием собственной несостоятельности, он становится

податливым и подлинно бесчувственным. Все можно пережить. Так ли уж много это значит? И чем оно меньше значит, тем оно меньше значит. Не столь уж важно. Потому что случилось и Худшее. В стране, где она родилась, вечно зажатой между проклятьем войны и ужасом мира, Худшее случилось постоянно.

Поэтому Малый Бог смеется пустым фальшивым смехом и удаляется вприпрыжку. Как богатый мальчуган в шортах. Насвистывая, поддавая ногой камешки. Причина его ломкого, нестойкого веселья – в относительной малости его несчастья. Поселяясь в человеческих глазах, он придает им выражение, вызывающее досаду.

То, что Ларри Маккаслин видел в глазах Рахели, не было отчаянием, это был некий оптимизм через силу. И пустота ровно там же, где у Эсты были изъяты слова. Нельзя было требовать, чтобы Ларри это понял. Что опустелость сестры ничем не отличается от немоты брата. Что одно соответствует другому, вкладывается в другое. Как две ложки из одного набора. Как тела любовников.

После того как они развелись, Рахель несколько месяцев работала официанткой в индийском ресторане в Нью-Йорке. А потом несколько лет – ночной кассиршей в пуленепробиваемой кабинке на бензозаправочной станции около Вашингтона, где пьяницы порой блевали в выдвижной ящичек для денег и сутенеры предлагали ей более выгодную работу. Дважды у нее на глазах людей убивали выстрелом в окно машины. Один раз из проезжающего автомобиля выкинули труп с ножом в спине.

Потом Крошка-кочамма написала ей, что Эсту Отправили Назад. Рахель уволилась с бензозаправочной станции и покинула Америку без сожалений. Чтобы вернуться в Айеменем. Туда, где Эста расхаживал под дождем.

В старом доме на пригорке Крошка-кочамма сидела за обеденным столом и счищала склизкую, рыхлую горечь с перезрелого огурца. На ней была обвислая ситцевая длинная ночная рубашка в клеточку с буфами на рукавах и желтыми пятнами от куркумы. Ее крохотные ножки с лакированными ноготками раскачивались под столом, словно она была ребенком на высоком стульчике. Из-за отеков ступни были похожи на маленькие пухлые подушечки. В былые дни, когда в Айеменем приезжала знакомая или родственница, Крошка-кочамма не упускала случая обратить общее внимание на то, какие большие у гости

ноги. Попросив разрешения примерить ее туфли, она победно спрашивала: «Видите, как велики?» И обходила в них комнату кругом, чуть подпернув сари, чтобы все могли полюбоваться на ее миниатюрные ножки.

Она трудилась над огурцом с едва скрываемым торжеством. Она была очень довольна тем, что Эста не заговорил с Рахелью. Взглянул на нее и прошел себе мимо. Туда, под дождь. Для него что сестра, что все прочие.

Ей было восемьдесят три года. Глаза за толстыми стеклами очков казались размазанными, как масло.

– Ведь я тебе говорила, – сказала она Рахели. – Чего ты ожидала? Особого отношения? Я же вижу, он повредился умом! Никого больше не узнаёт! На что ты рассчитывала?

Рахель не ответила.

Она ощущала ритм, с которым Эста раскачивался, и холод лившихся на него дождевых струй. Она слышала, как хрипит и шуршит сумятица у него в голове.

Крошка-кочамма посмотрела на Рахель с неудовольствием. Она уже чуть ли не жалела, что написала ей о возвращении Эсты. Но что, с другой стороны, ей оставалось делать? Нести эту ношу до самой кончины? С какой стати? Она ведь за него не в ответе.

Или?

Молчание расположилось между внучатной племянницей и двоюродной бабушкой, как третье лицо. Чужак. Опухший. Ядовитый. Крошка-кочамма напомнила себе, что надо запереть перед сном дверь спальни. Ей трудно было придумать, что еще сказать.

– Как тебе моя стрижка нравится?

Огуречной рукой она дотронулась до своей новой прически. И оставила на волосах яркую каплю горькой слизи.

Рахель и вовсе не знала, о чем говорить. Она смотрела, как Крошка-кочамма чистит огурец. Несколько кусочков желтой кожуры прилипло к груди старухи. Ее крашенные черные как смоль волосы были спутаны, как размотавшийся клубок ниток. На лбу от краски осталась серая полоса, словно вторая, теневая линия волос. Рахель заметила, что она начала пользоваться косметикой. Губная помада. Сурьма. Мазок-другой румян. Но поскольку дом был заперт и мрачен, поскольку она признавала только сорокаваттные лампочки, два ее рта – настоящий и помадный – не вполне совпадали друг с другом.

Ее лицо и плечи стали худее, чем были, и поэтому она казалась уже не столько шарообразной, сколько конической. Обеденный стол, за которым она сидела, скрывал ее необъятной ширины бедра, делая ее фигуру чуть ли не хрупкой. Тусклое освещение столовой стерло морщины с ее лица, из-за чего оно – на странный, впалый манер – помолодело. На ней было множество драгоценностей. Тех, что остались от покойной бабушки Рахели. Она надела их все. Мерцающие кольца. Брильянтовые серьги. Золотые браслеты и плоскую золотую цепочку великолепной работы, которую она время от времени трогала рукой, желая лишний раз убедиться, что она на месте и что она – ее. Ни дать ни взять юная невеста, которая все никак не может поверить своему счастью.

Она проживает жизнь в обратном направлении, подумала Рахель.

Это было удивительно верное наблюдение. Крошка-кочамма и вправду чуть не всю жизнь прожила в обратном направлении. В молодости она отвергла материальный мир, но теперь, в старости, как бы наверстывала упущенное. Она открыла объятия ему, он – ей.

Восемнадцатилетней девушкой Крошка-кочамма влюбилась в отца Маллигана, красивого молодого ирландского монаха, который был на год послан в штат Керала из мадрасской католической семинарии. Он изучал индуистские священные предания, чтобы затем опровергать их со знанием дела.

Каждый четверг утром отец Маллиган приезжал в Айеменем, чтобы нанести визит отцу Крошки-кочаммы, преподобному И. Джону Айпу, который был священником в церкви Святого Фомы[7 - Апостол Фома считается основоположником христианства в Индии.]. Преподобный Айп был хорошо известен среди местных христиан как человек, удостоившийся личного благословения от Антиохийского патриарха, суверенного главы Сирийской православной церкви. Этот эпизод, можно сказать, вошел в историю Айеменема.

В 1876 году, когда отцу Крошки-кочаммы было семь лет, его отец взял мальчика с собой посмотреть на патриарха, прибывшего в общину сирийских христиан штата Керала. В Кочине они оказались в переднем ряду группы прихожан, внимавших обращению патриарха с западной веранды дома Каллени. Воспользовавшись моментом, отец шепнул сыну на ухо несколько слов и подтолкнул его вперед. Будущий священник, сам не свой от страха, балансируя на полуотнявшихся ногах, облизывал перепуганными губами кольцо на среднем пальце патриаршей руки. Патриарх вытер кольцо о рукав и благословил ребенка. Даже спустя много лет, когда мальчик вырос и стал преподобным Айпом, его продолжали называть Пуньян Кунджу – Благословенный Малыш, – и люди приплывали по реке на лодках издалека, из Алеппи и Эрнаулама, и привозили детей, чтобы он благословил их.

Хотя отец Маллиган и преподобный Айп были люди разного возраста и принадлежали к разным ветвям христианства, не испытывавшим одна к другой иных чувств, кроме неприязни, два священнослужителя чем-то нравились друг другу, и отца Маллигана часто приглашали в дом Айпа пообедать. Из двоих мужчин только один видел чувственное возбуждение, волной вздымавшееся в стройной девушке, которая вертелась и вертелась около стола, хотя остатки обеда были давно убраны.

Сперва Крошка-кочамма пыталась пленить отца Маллигана еженедельными сеансами показной благотворительности. Утром в четверг, когда отец Маллиган вот-вот должен был появиться, Крошка-кочамма хватала какого-нибудь оборванного деревенского малыша и принудительно мыла его у колодца жестким красным мылом, от которого у него болели рельефно выступающие ребра.

– Доброе утро, святой отец! – кричала, увидев его, Крошка-кочамма, улыбка на лице которой контрастировала с железной хваткой ее рук на худой и скользкой от мыла ручонке мальчугана.

– Доброго вам утра, Крошка! – говорил отец Маллиган, останавливаясь у колодца и складывая свой зонтик.

– Я у вас одну вещь спросить хотела, – говорила Крошка-кочамма. – В Первом Коринфянам, глава десятая, стих двадцать третий, говорится: «Все мне позволительно, но не все полезно». Святой отец, как это Ему может быть все-

все-все позволительно? Кое-что или многое – это было бы понятно, но...

Отец Маллиган был не просто польщен чувствами, которые он пробудил в привлекательной девушке, стоявшей перед ним с трепещущими, готовыми к поцелую губами и сияющими угольно-черными глазами. Ведь он тоже был молод и, возможно, чувствовал, что ученые доводы, которыми он рассеивает ее мнимые теологические сомнения, пребывают в полнейшем противоречии с пронзительным обещанием, читаемым ею в его лучистых изумрудных глазах.

Каждый четверг они стояли так у колодца, не обращая внимания на безжалостное полуденное солнце. Молоденькая девушка и неустрашимый иезуит, влекомые друг к другу совершенно нехристианскими чувствами. Используя Библию как предлог для того, чтобы побыть вместе.

Неизменно посреди их разговора несчастному намыленному ребенку удавалось вывернуться и сбежать, возвращая отца Маллигана к действительности.

– Вот так та?к! Изловить бы постреленка, пока не застудился, – говорил он, потом опять раскрывал свой зонтик и шел дальше в шоколадного цвета рясе и удобных сандалиях, похожий на высоко поднимающего ноги, деловитого верблюда. Сердце молодой Крошки-кочаммы волочилось за ним на привязи, ударяясь о камни и цепляясь за кусты. Всё в синяках и почти разбитое.

Так, четверг за четвергом, прошел год. Наконец отцу Маллигану пришло время возвращаться в Мадрас. Поскольку благотворительность не принесла ощутимых результатов, поколебленная душой Крошка-кочамма обратила свои надежды на вероисповедание.

Проявив упрямую неподатливость (которую в те годы считали в девушке таким же серьезным изъяном, как физическое уродство – скажем, заячья губа или косолапость), Крошка-кочамма бросила вызов религии отцов и стала католичкой. По особому разрешению Ватикана она принесла обеты и стала послушницей в Мадрасском женском монастыре. Она рассчитывала, что каким-то образом это даст ей законную возможность быть с отцом Маллиганом. В ее воображении они наедине под сводами неких сумрачных покоев, задрапированных тяжелым бархатом, говорили о теологии. Это был предел ее желаний. О большем она не дерзала помыслить. Просто быть рядом. Так близко, чтобы чувствовать запах его бороды. Видеть, как переплетены грубые нити его

сутаны. Любить его, глядя на него, – и только.

Очень быстро она поняла тщетность этих мечтаний. Ей стало ясно, что священниками и епископами монополюно владеют вышестоящие сестры со своими куда более изощренными, чем у нее, теологическими сомнениями и что пройдут годы, прежде чем она сможет хоть сколько-нибудь приблизиться к отцу Маллигану. Она стала томиться в монастыре. Постоянно расчесывая голову под монашеским платом, она заработала аллергическую сыпь. Она видела, что говорит по-английски гораздо лучше, чем все остальные. И это делало ее еще более одинокой.

Не прошло и года после ее поступления в монастырь, как отец начал получать от нее загадочные письма. Дорогой мой папа, я несказанно счастлива тем, что служу Деве Марии. Но вот Кохинор здесь несчастлива и тоскует по дому. Сегодня, дорогой мой папа, Кохинор после обеда рвало и у нее температура. Дорогой мой папа, монастырская еда не годится для желудка Кохинор, хотя я переносу ее хорошо. Дорогой мой папа, Кохинор сильно огорчена из-за того, что ее семья не понимает ее и не заботится о ее благе...

Кто такая Кохинор, преподобный И. Джон Айп не знал; он знал только, что так зовется самый большой на тот момент из алмазов мира. Его удивляло, что девушка с мусульманским именем находится в католическом монастыре.

Не его, а мать Крошки-кочаммы в конце концов осенила догадка, что Кохинор не кто иной, как сама Крошка-кочамма. Мать вспомнила, что несколько лет назад показала дочери копию завещания ее отца (деда Крошки-кочаммы), в котором тот говорил о своих внуках и внучках так: «У меня семь алмазов, один из которых – мой Кохинор». Каждому из семи он оставил немного денег и драгоценностей, но нигде не объяснил, кому именно он дал прозвание Кохинор. Мать Крошки-кочаммы поняла, что без всякой явной на то причины Крошка-кочамма приняла слова деда о Кохинор на свой счет и теперь, годы спустя, зная, что все письма перед отправкой просматривает Мать Настоятельница, шлет таким способом родным сигнал бедствия.

Преподобный Айп поехал в Мадрас и забрал дочь из монастыря. Она рада была уехать, но ни в какую не соглашалась вернуться в лоно православной церкви и на всю жизнь осталась католичкой. Преподобный Айп понял, что репутация дочери изрядно подмочена и ей вряд ли удастся выйти замуж. Раз ей не найти мужа, решил он, пусть получает образование. И он отправил ее в Америку,

в Рочестерский университет.

Два года спустя Крошка-кочамма вернулась из Рочестера с дипломом специалиста по декоративному садоводству и влюбленная в отца Маллигана сильнее, чем когда-либо раньше. От стройной, красивой девушки, которой она раньше была, не осталось и следа. В Рочестере Крошка-кочамма сильно раздалась вширь. Стала, попросту говоря, тучной. Даже Челлаппен, застенчивый маленький портной у моста Чунгам, начал брать с нее за блузки под сари как за длинные рубашки.

Чтобы отвлечь Крошку-кочамму от грустных мыслей, отец предоставил в ее распоряжение садик перед Айеменемским Домом, где она устроила такое растительное буйство, что люди специально приезжали из Коттаяма на него полюбоваться.

Садик, круто огибаемый гравийной подъездной дорожкой, был разбит на округлом склоне пригорка. Крошка-кочамма превратила его в сложный лабиринт из миниатюрных живых изгородей, камней и фантастических фигур. Из цветов она больше всего жаловала антуриум. *Anthurium andraeanum*. У нее была целая коллекция всевозможных его разновидностей: «Рубрум», «Медовый месяц» и множество японских сортов. Мясистые однолепестковые обертки соцветий являли разнообразие оттенков от крапчато-черного до кроваво-красного и блестяще-оранжевого. Высокие, усеянные точками соцветия-початки были неизменно желтые. В самом центре садика Крошки-кочаммы среди клумб с каннами и флоксами мраморный херувим изливал бесконечную серебристую струю в крохотный пруд, где цвел единственный голубой лотос. У каждого из четырех углов пруда сидел в ленивой позе розовый гипсовый гномик с румяными щечками и в красной остроконечной шапочке.

Крошка-кочамма проводила в садике все послеполуденное время, одетая в сари и обутая в резиновые сапоги. Ее руки в ярко-оранжевых садовых перчатках бесстрашно орудовали огромным секатором. Как укротительница львов, она усмиряла буйство ползучих растений и приучала к порядку щетинистые кактусы. Она держала в строгости бонсаи – карликовые деревца – и баловала редкие орхидеи. Она бросала вызов климату. Она пыталась выращивать эдельвейсы и китайскую гуайяву.

Каждый вечер она мазала ступни сливками и удаляла на пальчиках ног лишнюю кожу у основания ногтей.

В последнее время, после полувека упорного, кропотливого возделывания, декоративный садик стоял заброшенный. Предоставленный самому себе, он стал узловатым и диким – цирк, в котором животные позабыли выученные трюки. Сорняк, называемый «коммунистическая трава» (потому что в штате Керала он так же напорист, как компартия), заглушил экзотические насаждения. Только ползучие растения все росли и росли, как ногти на трупе. Они прорастали сквозь ноздри розовых гипсовых гномиков и расцветали в их полых головах, придавая их лицам удивленно-чихающее выражение.

Причиной этой внезапной, бесцеремонной отставки была новая любовь. Крошка-кочамма установила на крыше Айеменемского Дома антенну-тарелку. Благодаря спутниковому телевидению она, сидя в гостиной, владычествовала над земным шаром. Это породило в Крошке-кочамме невероятное возбуждение, хорошо заметное со стороны. Перемена была не из тех, что происходят постепенно. Она произошла в одночасье. Блондинки, войны, голод, футбол, секс, музыка, государственные перевороты – все это приехало на одном поезде. Выгрузилось одной кучей. Остановилось в одной гостинице. И теперь в Айеменеме, где раньше самым громким звуком был мелодичный гудок автобуса, она могла, как прислугу, вызвать что угодно: хоть войну, хоть голод, хоть красочную резню, хоть Билла Клинтона. И вот, пока ее декоративный сад глож и умирал, Крошка-кочамма следила за баскетбольными матчами НБА, однодневными состязаниями по крикету и теннисными турнирами из серии «Большой шлем». По будням она смотрела «Дерзких и красивых» и «Санта-Барбару», где ломкие блондинки с накрашенными губами и фиксированными лаком прическами соблазняли андроидов и обороняли свои сексуальные империи. Крошке-кочамме полюбились их переливчатые наряды и находчивые, стержневые реплики. В течение дня отдельные фразы порой всплывали в ее памяти, вызывая у нее ухмылку.

Кухарка Кочу Мария по-прежнему носила тяжелые золотые серьги, безнадежно оттянувшие вниз мочки ее ушей. Она любила смотреть американское спортивное шоу «Борцовская мания», где Халк Хоган и Мистер Совершенство, чьи шеи были толще, чем головы, нещадно мяли и тузили друг друга, одетые в полосатые рейтузы из лайкры. Смех Кочу Марии чуть отдавал жестокостью, как это иногда бывает у маленьких детей.

Весь день они сидели в гостиной – Крошка-кочамма в плантаторском кресле с длинными подлокотниками или в шезлонге (в зависимости от состояния ее ног), Кочу Мария рядом с ней на полу (перескакивая, когда можно, с канала на канал), вместе запертые в шумной тишине телевидения. У одной волосы

снежно-белые, у другой крашеные и угольно-черные. Они участвовали во всех конкурсах, пользовались всеми предлагаемыми скидками и в двух случаях заработали призы – футболку и термос, которые Крошка-кочамма хранила в буфете под замком.

Крошка-кочамма любила Айеменемский Дом и лелеяла имущество, доставшееся ей благодаря тому, что она пережила всех остальных. Скрипка Маммачи и подставка для скрипки, буфеты из Ути[8 - Ути (Утакаманд) – курорт в южной Индии.], пластмассовые плетеные кресла, кровати из Дели, венский туалетный столик с потрескавшимися ручками из слоновой кости на выдвижных ящичках. Обеденный стол красного дерева, который сделал Велютта.

Ее пугали транслируемые по Би-би-си кадры войн и голода, на которые она иногда натыкалась, переключая каналы. Старые страхи перед революцией и марксистско-ленинской угрозой вернулись в облике новых телевизионных тревог из-за растущего числа отчаявшихся и обездоленных людей. В этнических чистках, голоде и геноциде она видела прямую угрозу своей мебели.

Двери и окна она всегда держала запертыми, если только ей не нужно было ими пользоваться. Окнами она пользовалась в нескольких целях. Глотнуть Свежего Воздуха. Уплатить За Молоко. Выпустить Залетевшую Осу (за которой Кочу Мария должна была гоняться по всему дому с полотенцем).

Она запирала даже свой жалкий облупившийся холодильник, где хранила недельный запас булочек с кремом, которые Кочу Мария покупала в кондитерской «Бестбейкери» в Коттаяме. И две бутылки с рисовым отваром, который она пила вместо воды. На полочке под морозильником она держала то, что осталось от обеденного сервиза Маммачи с синим рисунком в китайском стиле.

Дюжину ампул инсулина, которую привезла ей Рахель, она положила в отделение для масла и сыра. Она, видимо, считала, что в наши дни даже тот, кто внешне – сама невинность, может оказаться похитителем фарфора, маниакальным пожирателем булочек с кремом или вороватым диабетиком, рыщущим по Айеменему в поисках импортного инсулина.

Она даже близнецам не доверяла. Считала их Способными На Все. На что угодно. Они даже могут выкрасть обратно свой подарок, подумала она, и ее больно уколола мысль, что вот она опять рассматривает их как единое целое. Хоть столько уже лет позади. Ни за что не желая впускать прошлое в свое сознание, она тут же поправилась. Она. Она может выкрасть обратно свой подарок.

Она взглянула на стоящую у обеденного стола Рахель, и ей привиделась в ней та же уклончивая нездешность, та же способность держаться очень тихо и очень незаметно, которой Эста овладел в совершенстве. Крошка-кочамма была несколько даже напугана неразговорчивостью Рахели.

- Ну так что? - спросила она. Голос прозвучал резко и неуверенно. - Какие у тебя планы? Сколько ты здесь пробудешь? Решила уже?

Рахель попыталась выговорить фразу. Она свалилась с языка исковерканная. Как зазубренный кусок жести. Рахель подошла к окну и открыла его. Чтобы Глотнуть Свежего Воздуха.

- Потом не забудь закрыть, - сказала Крошка-кочамма и заперла лицо на ключ, как дверцу буфета.

Теперь уже в окно нельзя было увидеть реку.

Можно было до тех пор, пока Маммачи не распорядилась сделать заднюю веранду закрытой и установить там первую в Айеменеме скользяще-складную дверь. Выполненные маслом портреты преподобного И. Джона Айпа и Алеюти Аммачи (прадеда и прабабки Эсты и Рахели) перенесли с задней веранды на переднюю.

Там они висели и сейчас, Благословенный Малыш и его жена, по одну и другую сторону от набитой опилками и вставленной в рамку бизоньей головы.

Преподобный Айп улыбался безмятежной прародительской улыбкой уже не реке, а дороге.

У Алеюти Аммачи был более тревожный вид. Словно она хотела обернуться, но не могла. Возможно, ей не так легко, как ему, было оторвать взгляд от реки. Глаза ее смотрели туда же, куда смотрел муж. Но сердцем она смотрела в другую сторону. Ее кунукку – тяжелые, матового золота гроздевые серьги – сильно оттягивали мочки ушей и свисали до плеч. Сквозь ушные отверстия можно было видеть горячую реку и склоненные к ней темные деревья. И рыбаков в лодках. И рыб.

Теперь уже из дома нельзя было увидеть реку, но как морская раковина навсегда сохраняет в себе ощущение моря, так Айеменемский Дом все еще сохранял в себе ощущение реки.

Набегающее, затопляющее, рыбноволнистое.

Стоя с ветром в волосах у открытого окна столовой, Рахель видела, как дождь барабанит по ржавой железной крыше бывшей бабушкиной консервной фабрики.

«Райские соленья и сладости».

Она была расположена между домом и рекой.

Там делали соленья, маринады, фруктовые соки, джемы, карри в порошке и ананасовые компоты. И банановый джем – правда, незаконно, так как УПП (Управление по пищевой промышленности) запретило его на том основании, что, согласно их классификации, это был не джем и не желе. Слишком жидко для желе и слишком густо для джема. Ни то ни се; промежуточная консистенция.

Если следовать их правилам.

Теперь, после многих лет, Рахели казалось, что трудности с классификацией простирались в их семье гораздо дальше, нежели этот вопрос о джеме-желе.

Вероятно, Амму, Эста и она были самыми злостными нарушителями. Но не единственными. Другие тоже нарушали правила. Все их нарушали.

Заходили на запретную территорию. Играли в кошки-мышки с законами, определяющими, кого следует любить и как. И насколько сильно. Законами, согласно которым бабушки – это бабушки, дяди – дяди, матери – матери, двоюродные сестры – двоюродные сестры, джем – джем, а желе – желе.

В их семье дяди становились отцами, матери – любовницами, а двоюродные сестры умирали и лежали в гробу.

В их семье невысказанное становилось мыслимым и невозможное случалось в действительности.

Еще до похорон Софи-моль полицейские нашли Велютту.

На руках у него была гусиная кожа в тех местах, где их защемили наручниками. Холодными наручниками, от которых шел кислородный запах. Как от железных автобусных поручней и ладоней кондуктора.

Когда все было кончено, Крошка-кочамма сказала: «Что посеешь, то и пожнешь». Словно она сама не имела никакого отношения к Посеву и Жатве. Она вернулась к своей вышивке крестиком, семена миниатюрными ножками. Крохотные пальчики на них никогда не касались пола. Это была ее идея, что Эсту надо Отправить.

Внутри Маргарет-кочаммы горе и ярость из-за смерти дочери лежали свернутые, как злая пружина. Она ничего не говорила, но то и дело, пока не уехала обратно в Англию, принималась лупить Эсту, когда он попадался под руку.

Рахель видела, как Амму пакует вещи Эсты в маленький сундучок.

– Может быть, они правы, – слышался шепот Амму. – Может быть, мальчику нужен Баба.

Рахель видела, какие у нее глаза – мертвые, красные.

Они послали запрос в Хайдарабад Специалистке по Близнецам. Та ответила, что разлучать однояйцевых близнецов было бы нежелательно, а вот двуяйцевые ничем в принципе не отличаются от любых других братьев и сестер, и хотя, конечно, они будут испытывать стресс, как всякие дети из распавшихся семей, этим все и ограничится. Ничего экстраординарного.

И вот Эсту Отправили на поезде, с жестяным сундучком и с бежевыми остроносими туфлями в рюкзаке защитного цвета. Сначала в Мадрас – первым классом, ночным, Мадрасским Почтовым, – а оттуда в Калькутту с приятелем их отца.

У него была с собой коробка, набитая сандвичами с помидорами. И Орлиная фляжка с орлом. А в голове картины одна хуже другой.

Дождь. Стремительная, чернильная вода. И запах. Тошнотворная сладость. Словно от старых роз принесло ветром.

Но самое худшее – это воспоминание о молодом человеке, у которого был рот старика. Об опухшем лице и сломанной, перевернутой улыбке. О растекающейся прозрачной жидкости, в которой отражалась голая лампочка. О налитом кровью глазе, который открылся, блуждал какое-то время, а потом уставился на него. На Эсту. И что же он, Эста, тогда сделал? Посмотрел на любимое лицо и сказал: Да.

Да, это был он.

Вот оно, слово, до которого не мог добраться осьминог Эсты: Да. Как он ни пылесосил – бесполезно. Слово забило в самое дно какой-то складочки или бороздки, как волосок манго в щель между зубами. Не достать ни в какую.

В чисто практическом смысле, видимо, правильно будет сказать, что все началось с приезда Софи-моль в Айеменем. Наверно, и вправду все может перемениться в один день. И вправду несколько десятков часов могут пустить жизнь по другому руслу. И если так, то эти несколько десятков часов, как останки сгоревшего жилья – оплавленные ходики, опаленная фотография, обугленная мебель, – должны быть извлечены из руин и исследованы. Сохранены. Объяснены.

Мелкие события, обычные предметы, исковерканные и преобразованные. Наделенные новым смыслом. Внезапно ставшие сухими костями повести.

Однако, утверждая, что все началось с приезда Софи-моль в Айеменем, мы принимаем лишь одну из возможных точек зрения.

С таким же успехом можно сказать, что на самом деле все началось тысячи лет назад. Задолго до зарождения марксизма. До того, как англичане захватили Малабарский берег, до прихода голландцев, до появления Васко да Гамы, до завоевания Каликута Заморином. До того, как троих убитых португальцами сирийских епископов в пурпурных мантиях нашли плавающими в море со свернувшимися кольцами на груди морскими змеями и застрявшими в бородах устрицами. Можно сказать, что все началось задолго до того, как христианство приплыло на судне и просочилось в Кералу, как чай из чайного пакетика.

Что в действительности все началось, когда были установлены Законы Любви. Законы, определяющие, кого следует любить и как.

И насколько сильно.

Ну, а для практических целей, в нашем безнадежно практическом мире...

2. Бабочка Паппачи

...стоял лазурный день в декабре шестьдесят девятого (тысяча девятьсот в уме). Жизнь семьи незаметно подошла к такому рубежу, когда что-то выталкивает из укрытия ее внутреннее бытие и заставляет его всплыть пузырьком воздуха на поверхность и некоторое время колыхаться там. У всех на виду. В наготе и беспомощности.

Лазурного цвета «плимут», задние крылышки которого сверкали на солнце, ехал в Кочин, проносясь мимо молодых всходов риса и старых каучуковых деревьев. Дальше к востоку на небольшую страну со сходным климатом (те же джунгли,

реки, рисовые поля, коммунисты) бомбы сыпались в количестве, позволявшем чуть не всю ее вымостить шестидюймовыми стальными осколками. Здесь, однако, был мир, и семейство ехало в «плимуте», не испытывая ни страха, ни дурных предчувствий.

Раньше «плимут» принадлежал Паппачи, деду Рахели и Эсты. После его смерти автомобиль перешел к Маммачи, их бабушке, и теперь близнецы ехали на нем в Кочин смотреть фильм «Звуки музыки» в третий раз. Они уже знали наизусть все песни.

Потом они должны были переночевать в гостинице «Морская королева», где пахло вчерашней едой. Номера уже были забронированы. На следующий день рано утром им предстояло поехать в Кочинский аэропорт, чтобы встретить Маргарет-кочамму (их английскую тетю, бывшую жену Чакко), которая со своей и Чакко дочерью, их двоюродной сестрой Софи-моль, летела из Лондона встретить в Айеменеме Рождество. Два месяца назад Джо, второй муж Маргарет-кочаммы, погиб в автомобильной катастрофе. Узнав о его смерти, Чакко пригласил их в Айеменем. Невыносимо думать, сказал он, что они будут встречать Рождество в Англии в одиночестве и заброшенности. В доме, полном воспоминаний.

Амму говорила, что Чакко не переставал любить Маргарет-кочамму. Маммачи не соглашалась. Ей хотелось верить, что он не любил ее ни одного дня.

Рахель и Эста никогда не видели Софи-моль. Однако в последнюю неделю они массу всего о ней слышали. От Крошки-кочаммы, от Кочу Марии и даже от Маммачи. Как и близнецы, ни одна из них ее в глаза не видела, но говорили они так, словно прекрасно ее знали. В общем, неделя прошла под знаком: Что Подумает Софи-моль?

Всю ту неделю Крошка-кочамма неустанно подслушивала разговоры близнецов между собой и, если замечала, что они переходят на малайялам, налагала небольшую пеню, которая удерживалась из их карманных денег. Она заставляла их писать строчки – «штрафные», так она их называла: Я буду говорить только по-английски. Я буду говорить только по-английски. Сто раз подряд. Потом она перечеркивала написанное красными чернилами, чтобы ей не подсунули то же самое после новой провинности.

Она репетировала с ними английскую путевую песню для обратной дороги. Они должны были выговаривать слова без ошибок и быть очень внимательными к произношению. Проу Ииз Ноу Шению.

Ра-адуйтесь всегда-а в Го-осподе,

И еще говорю: ра-адуйтесь,

Ра-адуйтесь,

Ра-адуйтесь,

И еще говорю: ра-адуйтесь.

У Эсты полное имя звучало Эстаппен Яко. У Рахели – просто Рахель. До Пору До Времени они жили без фамилии, потому что Амму обдумывала возможность вернуть себе девичью фамилию, хотя говорила, что предоставляемый женщине выбор между фамилиями мужа и отца – это насмешка, а не выбор.

На ногах у Эсты были его бежевые остроносые туфли, на голове – элвисовский зачес. Особый Выходной Зачес. Из песен Элвиса его любимой была «Повеселимся». «Иные любят рок, иные любят ролл, – мурлыкал Эста наедине с собой, брэнча на бадминтонной ракетке и кривя губу, как Элвис, – а мне милей всего топтать с девчонкой пол. Повеселимся...»

У Эсты были раскосые сонные глаза, и его новые передние зубы еще не выровнялись. У Рахели новые зубы пока что дремали в деснах, как словечки в авторучке. Всех удивляло, что при всего лишь восемнадцатиминутной разнице в возрасте она так отстала по части передних зубов.

Волосы Рахели взметались с макушки фонтанчиком. Они были стянуты «токийской любовью» – парой шариков на круглой резинке, что не имело отношения ни к любви, ни к Токио. В штате Керала «токийская любовь» выдержала проверку временем, и даже сейчас, если вы попросите ее в любом приличном галантерейном магазине, вас поймут и вы получите желаемое. Пару шариков на круглой резинке.

На руке у Рахели были игрушечные часики с нарисованными стрелками. Без десяти два. Одним из ее желаний было иметь часы, на которых она могла бы ставить время по своему усмотрению (ведь для этого, считала она, Время

главным образом и существует). Ее красные пластмассовые солнечные очки в желтой оправе делали весь мир красным. Амму говорила, что это вредно для глаз, и просила ее надевать их пореже.

Ее Платье Для Аэропорта лежало у Амму в чемодане. Там же – специальные панталончики в тон.

Вел машину Чакко. Он был старше Амму на четыре года. Рахель и Эста не могли называть его чачен (старший брат), потому что он тогда называл их четан и чедути (брат и жена брата). Если они называли его аммавен (дядя), он называл их аппой и аммей (брат матери и его жена). Если они называли его по-английски дядей, он называл их тетями, и это смущало их, когда он делал это При Всех. Поэтому они называли его Чакко.

Комната Чакко была от пола до потолка уставлена книгами. Он все их прочел и цитировал длинными кусками без видимой причины. Во всяком случае, никто не понимал, зачем он это делает. Например, когда они в тот день выезжали из ворот, крича «До свидания» сидящей на веранде Маммачи, Чакко вдруг сказал: «Нет, Гэтсби себя оправдал под конец; не он, а то, что над ним тяготело, та ядовитая пыль, что вздымалась вокруг его мечты, – вот что заставило меня на время утратить всякий интерес к людским скоротечным печалям и радостям впопыхах»[9 - Цитата из романа Ф. С. Фитцджеральда «Великий Гэтсби» (перевод Е. Калашниковой).].

Все настолько к этому привыкли, что никто уже не переглядывался и не толкал соседа локтем. Чакко окончил Оксфорд, куда ездил как родсовский стипендиат, и ему были позволительны эксцентризмы и причуды, которые никому другому не сошли бы с рук.

Он утверждал, что пишет такую Историю Семьи, что Семье придется щедро заплатить ему за отказ от публикации. Амму отвечала, что единственный человек в семье, уязвимый для подобного биографического шантажа, – это сам Чакко.

Это, конечно, было еще тогда. До Ужаса.

В «плимуте» Амму сидела впереди, рядом с Чакко. В том году ей исполнилось двадцать семь, и где-то в глубине живота она носила холодное знание,

что жизнь для нее кончена. Ей представился ровно один шанс. Она допустила ошибку. Вышла замуж за кого не надо было.

Амму окончила школу в том же году, когда ее отец ушел на пенсию со своей работы в Дели и переехал с семьей в Айеменем. Паппачи считал, что обучение в колледже – излишняя роскошь для девушки, поэтому Амму волей-неволей пришлось покинуть Дели вместе со всеми. В Айеменеме юная девушка мало чем могла заниматься – разве что помогать матери по хозяйству и ждать брачных предложений. Поскольку у отца Амму не было денег на приличное приданое, предложений не поступало. Так минуло два года. Прошел ее восемнадцатый день рождения. Прошел незамеченным или, по крайней мере, не отмеченным ее родителями. Амму пришла в отчаяние. Целыми днями мечтала о том, как бы ускользнуть из Айеменема, от желчного отца и обиженной, много перестрадавшей матери. Один за другим возникло несколько доморощенных планов спасения. В конце концов один из них сработал. Паппачи отпустил ее на лето к дальней родственнице в Калькутту.

Там на чьей-то свадьбе Амму познакомилась со своим будущим мужем.

Он приехал в отпуск из Ассама, где работал помощником управляющего на чайной плантации. Он происходил из обедневшей семьи заминдаров[10 - Заминдары – землевладельцы, платившие земельный налог английским колониальным властям.], которая перебралась в Калькутту из Восточной Бенгалии после раздела страны на Индию и Пакистан.

Он был маленького роста, но хорошо сложен. Приятен лицом. Носил старомодные очки, придававшие ему серьезный вид и вступавшие в противоречие с его непринужденным обаянием и детским, но совершенно обезоруживающим юмором. К своим двадцати пяти годам он успел проработать на чайных плантациях шесть лет. Он не кончал колледжа, чем и объяснялось его пристрастие к школьным шуточкам. Он сделал Амму предложение через пять дней после знакомства. Амму не стала притворяться, что влюблена. Просто поразмыслила и согласилась. Лучше что угодно и кто угодно, подумала она, чем возвращение в Айеменем. Она написала родителям, извещая их о своем решении. Они не ответили.

Сыграли пышную калькуттскую свадьбу. Потом, вспоминая тот день, Амму поняла, что причиной лихорадочного блеска в глазах жениха были не любовь и даже не предвкушение плотского блаженства, а примерно восемь больших

порций виски. Чистого. Неразбавленного.

Свекор Амму был председателем Железнодорожного совета и обладателем голубой кембриджской боксерской формы. Он был секретарем Бенгальской ассоциации боксеров-любителей. Он подарил молодым «фиат», выкрашенный по особому заказу в дымчато-розовый цвет, и после свадьбы укатил в нем сам, погрузив в него все драгоценности и большую часть прочих подношений. Еще до того, как родились двойняшки, он умер на операционном столе во время удаления желчного пузыря. На кремации присутствовали все боксеры Бенгалии. Печальная процессия костлявых щек и сломанных носов.

Когда они с мужем переехали в Ассам, красивая, молодая и дерзкая Амму стала любимицей всего «Плантаторского клуба». Она надевала под сари блузки, оставляющие спину открытой, и носила на цепочке кошелек из серебристой парчи. Она курила длинные сигареты в серебряном мундштуке и научилась выпускать дым безукоризненными кольцами. Ее муж оказался не просто пьющим, но самым настоящим алкоголиком со всей присущей таким людям лживостью и трагическим шармом. Было в нем такое, чего Амму так и не смогла понять. Даже спустя годы после их развода она все удивлялась, почему он так беззастенчиво ей врал, когда в этом не было никакой нужды. В особенности когда в этом не было никакой нужды. В разговоре с друзьями он мог распространяться о том, как он любит копченую лососину, хотя Амму знала, что он терпеть ее не может. Или приходил домой из клуба и говорил Амму, что смотрел «Встретимся в Сент-Луисе», хотя на самом деле там показывали «Бронзового ковбоя». Когда она уличала его во лжи, он никогда не извинялся и не оправдывался. Просто хихикал, чем злил Амму настолько, что она сама себе удивлялась.

У Амму пошел девятый месяц беременности, когда началась война с Китаем. Стоял октябрь 1962 года. С чайных плантаций Ассама стали вывозить жен и детей сотрудников. Амму, у которой близились роды, не могла ехать и осталась на месте. В ноябре, после невыносимого путешествия в Шиллонг на тряском автобусе, посреди слухов о китайской оккупации и неизбежном поражении Индии, родились Эста и Рахель. При свете свечей. В родильном доме с затемненными окнами. Они вылезли из нее по-тихому с восемнадцатиминутным интервалом. Парочка маленьких вместо одного большого. Тюленчики-двойняшки, скользкие от материнских соков. Сморщенные от родовой натуги. Прежде чем закрыть глаза и забыться, Амму осмотрела их, ища дефекты.

Она насчитала четыре глаза, четыре уха, два рта, два носа, двадцать пальчиков на руках и двадцать аккуратных ногтей на ногах.

Она не увидела единую сиамскую душу. Она была рада, что они родились. Их отец валялся пьяный на жесткой скамейке в больничном коридоре.

К тому времени как близнецам исполнилось два года, пьянство отца, усугубляемое скукой чайных плантаций, довело его до алкоголического ступора. Целые дни он пролеживал в постели, не выходя на работу. Наконец мистер Холлик, англичанин-управляющий, пригласил его в свое бунгало «потолковать по душам».

Амму сидела на веранде их дома и обреченно ждала возвращения мужа. Она была уверена, что Холлик вызвал его с единственной целью – объявить об увольнении. К ее удивлению, Баба вернулся мрачный, но не отчаявшийся. Мистер Холлик, сказал он, предложил один вариант, и надо его обсудить. Вначале муж говорил несколько неуверенно, избегая ее взгляда, но потом осмелел. С практической точки зрения, сказал он, это предложение выгодно им обоим. И не только им, но и детям, ведь их образование обойдется недешево.

Мистер Холлик говорил с молодым помощником без обиняков. Перечислил жалобы на него от рабочих и от других помощников управляющего.

– Боюсь, у меня нет другого выхода, – сказал он, – кроме как освободить вас от должности.

Он выдержал паузу, сполна используя ее эффект. Подождал, пока сидящий напротив жалкий человечик не затрясся. Пока он не захныкал. Тогда Холлик заговорил снова.

– Все-таки один выход, пожалуй, имеется... может, мы и сговоримся по-хорошему. Надо, я считаю, быть оптимистами. Всегда что-то есть в активе. – Холлик прервался, чтобы потребовать черного кофе. – Ведь вы счастливчик, дорогой мой, – прекрасная семья, чудные детишки, обаятельная жена... – Он зажег сигарету и не гасил спичку, пока она не обожгла ему пальцы. – На редкость обаятельная жена...

Хныканье смолкло. Карие глаза озадаченно уперлись в зеленые, зловещие, в красных прожилках глаза собеседника. Потягивая кофе, мистер Холлик предложил Баба уехать на время. Взять отпуск. Может быть, и в клинике подлечиться. Пока у него не наступит улучшение. А на период его отсутствия, сказал мистер Холлик, Амму перебралась бы к нему в бунгало, где он «окружит ее заботой».

В тех местах уже бегало несколько оборванных светлокожих детишек, родившихся от мистера Холлика у молоденьких сборщиц чая. На сей раз он впервые попробовал взять чуть повыше.

Амму смотрела, как движутся, формируя слово за словом, мужнины губы. И ничего не отвечала. От ее молчания он сперва почувствовал неловкость, а потом пришел в ярость. Внезапно бросился на нее, схватил ее за волосы, ударил и, лишившись сил, упал в обморок. Амму стащила с полки самую увесистую книгу – атлас мира в издании «Ридерз дайджест» – и принялась лупить его со всего размаху. По голове. По ногам. По плечам и спине. Придя в себя, он пришел в изумление от величины синяков. Он униженно попросил прощения за вспышку гнева и тут же принялся ныть и клянчить, чтобы она помогла ему перевестись в другое место. Это вошло в систему. После пьяного буйства – похмельное нытье. Амму содрогалась от медицинского запаха перегорелого спирта, который шел от его кожи, и от вида засохшей блевотины, облеплявшей по утрам его рот наподобие пирожной корки. Когда в приступах ярости он начал кидаться на детей и в довершение всех бед разразилась война с Пакистаном, Амму бросила мужа и вернулась к неприветливым родителям в Айеменем. Ко всему, от чего она бежала несколько лет назад. С той разницей, что теперь у нее на руках было двое детей. И никаких больше иллюзий.

Паппачи ее рассказу не поверил – не потому, что хорошо думал о ее муже, а потому, что в его представлении англичанин, кто бы он ни был, просто не мог возжелать чужую жену.

Амму любила детей – как же иначе, – но их лупоглазая беззащитность, их готовность любить всех подряд, даже тех, кто их не любит, приводила ее в бешенство и порой рождала в ней желание сделать им больно – чтобы предостеречь, чтобы научить.

Словно они держали окно, в которое улетучился отец, открытым для любого желающего – влезай, располагайся.

Двойняшки казались Амму парой озадаченных лягушат, поглощенных друг другом, сцепившихся лапками и вместе прыгающих по шоссе, по которому несутся машины. Без малейшего понятия о том, как автомобиль может обойтись с лягушонком. Амму опекала их яростно. Бдительность напрягала ее, натягивала струной. Чуть что, она отчитывала детей, по малейшему поводу вскидывалась на посторонних в их защиту.

Она понимала, что ее шансы в жизни теперь равны нулю. Ей остается только Айеменем. Передняя веранда и задняя веранда. Горячая река и консервная фабрика.

А на заднем плане – неумолчное, визгливое, скулящее подвывание недоброй молвы.

Амму быстро, уже за первые месяцы после возвращения в родительский дом научилась распознавать и презирать уродливый лик сострадания. Пожилые родственницы с волосками на первых подбородках, под которыми колыхались вторые и третьи, наносили краткие визиты в Айеменем, чтобы попечалиться с нею вместе о ее разводе. Они садились напротив, хватали ее за коленку и злорадствовали. Она едва сдерживалась – так ей хотелось их ударить. А еще лучше – открутить им соски. Гаечным ключом. Как Чаплин в «Новых временах».

Когда Амму разглядывала свои свадебные фотографии, ей чудилось, будто на нее смотрит кто-то другой, а не она. Какая-то глупая разукрашенная невеста. Ее шелковое сари цвета солнечного заката переливалось золотом. На каждом пальце – кольцо. Над изогнутыми бровями – белые пятнышки сандаловой пасты. От воспоминаний, рождаемых этими снимками, мягкий рот Амму изгибался в мелкой, горькой усмешке; дело было не столько даже в самой свадьбе, сколько в том, что она позволила так изощренно обрядить себя перед виселицей. Ей виделась в этом такая тщета. Такая нелепость.

Все равно, что полировать дрова.

Она отдала местному ювелиру в переплавку свое массивное обручальное кольцо, и тот сделал из него тоненький браслет со змеиными головками, который она спрятала, чтобы в будущем подарить Рахели.

Амму понимала, что нельзя обойтись совсем без свадьбы. Теоретически – можно, на практике – нет. Но до конца жизни она была сторонницей скромных церемоний в обычной одежде. Все же не так зловеще, думала она.

Порой, когда по радио звучали любимые песни Амму, что-то сдвигалось у нее внутри. Текучая боль разливалась под кожей, и она, как ведьма, покидала этот мир ради иных, более счастливых краев. В такие дни что-то в нее вселялось, какая-то неукротимость и беспокойство. Словно она на время скидывала моральную ношу, которую подобало нести матери и разведенной жене. Даже походка ее дичала, из матерински-надежной превращалась в иную, размашистую. Она вставляла в прическу цветы, и глаза ее делались таинственными. Она ни с кем не говорила. Часами сидела на берегу реки с маленьким пластмассовым транзистором в форме мандарина. Курила сигареты и окуналась в полуночную реку.

Отчего же Амму становилась такой непредсказуемой? Такой Опасной Бритвой? Оттого, что внутри у нее шла борьба. Смешалось то, чему лучше не смешиваться. Бесконечная нежность матери и безоглядная ярость самоубийцы-бомбометательницы. Вот что возрастало и возрастало в ней, вот что в конце концов заставило ее любить по ночам человека, которого ее дети любили днем. Плавать по ночам в лодке, в которой ее дети плавали днем. В лодке, на которой сидел Эста и которую обнаружила Рахель.

В те дни, когда радио играло любимые песни Амму, домашние побаивались ее. Каким-то образом они чувствовали, что она им неподвластна, что она живет в сумеречном зазоре меж двух миров. Что женщине, на которой они поставили крест, теперь почти нечего терять, и поэтому она может представлять опасность. Так что в те дни, когда радио играло любимые песни Амму – например, «Let It Be» битлов, – люди сторонились ее, обходили ее кругами, потому что всем было ясно, что лучше Оставить Ее Так. Let Her Be.

А бывали дни, когда от улыбки у нее на щеках появлялись упругие ямочки.

У нее было нежное точеное личико, черные брови, похожие на крылья парящей чайки, маленький прямой нос и светящаяся изнутри кожа орехового цвета. В тот лазурный декабрьский день ветер в машине вызволял и трепал пряди ее буйно-курчавых волос. Блузка без рукавов оставляла открытыми плечи, блестящие, как дорогое полированное дерево. Иногда она была самой красивой женщиной, какую Эста и Рахель видели в жизни. А иногда не была.

На заднем сиденье «плимута» между Эстой и Рахелью сидела Крошка-кочамма. Бывшая монашенка, а ныне двоюродная бабушка. К ним, к обделенным судьбой, лишенным отца близнецам, она относилась с неприязнью, какую несчастливые люди иногда испытывают к собратьям по несчастью. Мало того, что безотцовщина, еще и дети от смешанного брака, наполовину индусы, с которыми уважающее себя семейство сирийских христиан ни за что не породнится. Она всячески давала им понять, что они (как, впрочем, и она) живут в Айеменемском Доме, принадлежащем их бабушке, только из милости и без всякого на то права. Крошка-кочамма мысленно возмущалась поведением Амму, бунтовавшей против участи, какую она, Крошка-кочамма, смиренно приняла. Участи горемычной безмужней женщины. Печальная Крошка-кочамма, так и не получившая отца Маллигана в мужья. С годами она убедила себя, что их с отцом Маллиганом соединенью помешало лишь ее самоотречение, ее решимость не преступать границ.

Она всей душой разделяла расхожее мнение, что замужней дочери нет места в доме ее родителей. Что касается разведенной дочери, ей, считала Крошка-кочамма, нет места вообще нигде. Что касается разведенной дочери, чей брак не был одобрен родителями, Крошка-кочамма не находила слов, чтобы выразить свое возмущение. А если к тому же это был межобщинный брак, Крошка-кочамма могла только молчаливо содрогаться.

Близнецы были слишком малы, чтобы все это понимать, и случавшиеся у них мгновения высшего счастья – например, когда пойманная ими стрекоза поднимала лапками камешек с подставленной ладони, или когда им разрешали окатить водой свиней, или когда они находили яйцо, еще горячее от наседки, – вызывали неодобрение Крошки-кочаммы. Но самое сильное неодобрение вызывала у нее теплая радость, которую они черпали друг в друге. Она хотела видеть на их лицах некий знак печали. По меньшей мере знак.

На обратном пути из аэропорта Маргарет-кочамма будет сидеть впереди вместе с Чакко, потому что в прошлом она была его женой. Софи-моль сядет между ними. Амму переберется на заднее сиденье.

Будет две фляжки с водой. Для Маргарет-кочаммы и Софи-моль – кипяченая, для всех остальных – из-под крана.

Багаж будет лежать в багажнике.

Рахели нравилось слово «багаж». Гораздо лучше, чем, например, «крепыш». «Крепыш» – ужасное слово. Похоже на имя гномика. Коши Ууммен[11 - Коши, Ууммен – типичные имена сирийских христиан в южной Индии.] Крепыш – приятный, среднего достатка, богобоязненный гномик с коротенькими ножками и боковым пробором.

На крыше у «плимута» громоздилось квадратное сооружение из четырех обитых жестью кусков фанеры, на каждом из которых стилизованными буквами было выведено: «Райские соленья и сладости». Под каждой надписью были нарисованы банка с фруктовым вареньем-ассорти и банка с пряным соленьем из лайма в растительном масле, и на каждой банке красовалась наклейка с надписью теми же стилизованными буквами: «Райские соленья и сладости». Сбоку от банок перечислялись все райские деликатесы и был нарисован исполнитель танца катхакали[12 - Катхакали (на языке малайялам буквально: представление рассказа) – традиционное представление национального театра южной Индии на мифологические сюжеты.] с зеленым лицом и в развевающихся одеждах. Вдоль змеящегося нижнего края его волнистых одежд змеилась строка: «Владыки вкусового царства», представлявшая собой непрошенный творческий вклад товарища К. Н. М. Пиллея. Это был буквальный перевод с малайялам фразы Руси локатинде Раджаву, звучавшей чуть менее абсурдно, чем эти самые «Владыки». Как бы то ни было, товарищ Пиллей отпечатал все в таком именно виде, и ни у кого не хватило духу потребовать, чтобы он переделал весь заказ. Поэтому, к сожалению, «Владыки вкусового царства» стали неизменным украшением банок с райской продукцией.

Амму сказала, что танцор катхакали здесь Ни К Селу Ни К Городу, только с толку сбивает. Чакко ответил, что он придает всему Местный Колорит и сослужит продукции хорошую службу, когда она выйдет на Международный Рынок.

Амму сказала, что вид у них с этой рекламой просто смехотворный. Не машина, а цирк передвижной. Да еще с крылышками.

Маммачи начала делать соленья на коммерческой основе вскоре после того, как Паппачи ушел на пенсию с государственной службы в Дели и семья переехала в Айеменем. Коттаямское Библейское общество проводило ярмарку

и попросило Маммачи выставить свой знаменитый банановый джем и соленье из молодых манго. Все это мигом было раскуплено, и Маммачи увидела, что спрос превышает предложение. Окрыленная успехом, она продолжала делать соленья и джемы и оглянуться не успела, как оказалась занята по горло. Паппачи, со своей стороны, не знал, как ему справиться с бесчестьем отставки. Он был на семнадцать лет старше Маммачи и вдруг с ужасом понял, что он уже старик, тогда как его жена еще в расцвете сил.

Хотя у Маммачи была коническая роговица и она уже почти ничего не видела, Паппачи не помогал ей готовить соленья, потому что считал такое дело зазорным для бывшего государственного служащего высокого ранга. Он всегда был страшно ревнивым человеком, и ему очень не нравилось, что его жена внезапно оказалась в центре внимания. Он слонялся по территории консервной фабрики в одном из своих безукоризненно сшитых костюмов, уныло петляя меж холмиков красного перца и свежесмолотой желтой куркумы, наблюдая, как Маммачи распоряжается покупкой, взвешиванием, засолкой и сушкой лаймов и молодых манго. Каждый вечер он бил ее латунной цветочной вазой. Побои не были новостью. Новостью была частота, с какой они начали происходить. Однажды Паппачи сломал смычок женой скрипки и бросил его в реку.

Потом на летние каникулы приехал из Оксфорда Чакко. Он превратился в крупного мужчину, и от гребли за Бэллиол-колледж руки у него были тогда крепкие. Через неделю после приезда он увидел, как Паппачи бьет Маммачи у себя в кабинете. Чакко вошел в комнату, схватил Паппачи за руку, в которой тот держал вазу, и заломил ее отцу за спину.

- Чтобы этого никогда больше не было, - сказал он. - Никогда, понял?

До конца дня Паппачи сидел на веранде с каменным лицом и смотрел на декоративный сад, игнорируя тарелки с едой, которые ему подставляла Кочу Мария. Поздно вечером он вошел к себе в кабинет и вынес оттуда любимое свое кресло-качалку красного дерева. Поставив кресло на середину подъездной дорожки, он разбил его в щепу большим разводным ключом. Все это там осталось лежать кучей, освещенное луной, - полированные прутья и деревянные обломки. Он ни разу больше не тронул Маммачи. И до конца своих дней не сказал ей больше ни слова. Когда ему что-нибудь было нужно, он прибегал к посредничеству Кочу Марии или Крошки-кочаммы.

В те вечера, когда ожидалась гости, он усаживался на веранде и начинал пришивать к своим рубашкам пуговицы, которых там якобы не хватало, – видите, мол, как она обо мне заботится. В какой-то, пусть и малой, степени ему удалось еще больше дискредитировать в глазах жителей Айеменема образ работающей жены.

У одного старого англичанина в Манаре он купил лазурного цвета «плимут». В Айеменеме часто потом видели, как он важно и неторопливо катит по узкой дороге в широкой машине, элегантный внешне, но весь мокрый от пота под плотным шерстяным костюмом. Ни Маммачи, ни кому-либо другому не разрешалось не только ездить, но даже сидеть в этом автомобиле. «Плимут» был отпущением Паппачи.

В свое время Паппачи был Королевским Энтомологом в Сельскохозяйственном институте. После ухода англичан его должность стала называться «содиректор по энтомологии». За год до отставки его повысили до директорского уровня.

Величайшим разочарованием его жизни было то, что в его честь не назвали открытую им ночную бабочку.

Она упала в его коктейль однажды вечером, когда он сидел на веранде гостиницы после долгого дня в поле. Вынимая ее, он обратил внимание на необычную густоту спинных волосков. Он присмотрелся к ней получше. Потом, испытывая растущее воодушевление, обработал ее, обмерил и утром на несколько часов выставил на солнце, чтобы выпарить спирт. После чего первым же поездом вернулся в Дели. Где бабочку ждало таксономическое исследование, а его, как он надеялся, – слава. После шести невыносимых месяцев ожидания энтомологу, к его страшному разочарованию, было сказано, что эта бабочка – всего-навсего незначительная разновидность внутри хорошо известного вида, принадлежащего к тропическому семейству *Lymantriidae*.

Но настоящий удар он получил двенадцатью годами позже, когда вследствие радикального изменения таксономических концепций специалисты по чешуекрылым решили, что бабочка Паппачи действительно является представительницей доселе не известного науке вида и рода. К тому времени, конечно, Паппачи уже вышел на пенсию и обосновался в Айеменеме. Борьб за честь первооткрывателя было уже поздно. Бабочку назвали в честь и. о. директора отдела энтомологии, из молодых да ранних, на которого Паппачи всегда смотрел косо.

В последующие годы, хотя Паппачи уже давно, задолго до открытия им бабочки, был человеком желчным, она, эта бабочка, считалась виновницей всех его приступов хандры и внезапных вспышек ярости. Ее злобный дух – серый, мохнатый, с необычно густыми спинными волосками – обитал в каждом доме, где ему приходилось жить. Он мучил его самого, его детей и детей его детей.

До самой своей кончины, несмотря на удушающую айеменемскую жару, Паппачи неизменно носил хорошо отутюженный костюм-тройку и золотые карманные часы. На его туалетном столике рядом с флакончиком одеколona и серебряной щеткой для волос стояла его фотография в молодости, с гладко зализанными волосами, сделанная в фотоателье в Вене, где он шесть месяцев стажировался, прежде чем получить должность Королевского Энтомолога. Во время их краткого пребывания в Вене Маммачи стала брать свои первые уроки игры на скрипке. Уроки были резко прерваны после того, как Лаунски-Тиффенталь, педагог Маммачи, имел неосторожность сказать Паппачи, что его жена исключительно одарена и, по его мнению, может стать настоящей солисткой.

Маммачи вклеила в семейный фотоальбом вырезку из газеты «Индиан экспресс» с заметкой о смерти Паппачи. Там говорилось:

Известный энтомолог шри Бенаан Джон Айп, сын покойного священника И. Джона Айпа из Айеменема (прозванного Пуньян Кунджу) скончался вчера ночью в больнице общего профиля города Коттаяма от обширного инфаркта. Примерно в 1.05 ночи он почувствовал боль в груди и был немедленно госпитализирован. Смерть наступила в 2.45 ночи. В течение последних шести месяцев состояние здоровья шри Айпа внушало опасения. После него остались жена Сошамма и двое детей.

На похоронах Паппачи его вдова рыдала, и контактные линзы плавали в ее глазах. Амму сказала близнецам, что Маммачи плакала не из-за любви к покойному мужу, а из-за привычки. Она привыкла видеть его слоняющимся вокруг фабрики, привыкла к его побоям. Амму сказала, что человек – это привыкающее животное и что просто невероятно, к чему он ухитряется приспособиться. Стоит посмотреть вокруг, сказала Амму, и увидишь, что избиения латунной вазой – далеко не самое впечатляющее, что есть на свете.

После похорон Маммачи попросила Рахель найти и вынуть у нее из глаз контактные линзы с помощью маленькой оранжевой пипетки, лежавшей в особом футлярике. Рахель спросила Маммачи, можно ли ей будет, когда Маммачи умрет, взять пипетку себе. Амму тут же вывела ее из комнаты и отшлепала.

– Чтобы я никогда больше не слышала, как ты говоришь человеку про его смерть, – сказала она.

Эста сказал, что Рахель недобрая, что так ей и надо.

Венскую фотографию Паппачи с зализанными волосами вставили в другую рамку и повесили в гостиной.

Он был фотогеничный мужчина, франтоватый и холеный, с довольно крупной для его небольшого роста головой. Наклони он ее – на снимке стал бы заметен уже намечавшийся у него второй подбородок. Поэтому он держал голову достаточно высоко, но не слишком, чтобы не показаться надменным. Его светлоглазые глаза глядели любезно, но несколько зловеще, как будто он специально сделал перед аппаратом вежливую мину, размышляя тем временем, как лучше убить собственную жену. Его верхняя губа посередине чуть нависала над нижней, что делало его лицо женственным и словно бы дующимся, как бывает у детей, имеющих привычку сосать пальцы. На подбородке у него была продолговатая выемка, подтверждавшая подозрения о таящейся в нем маниакальной злобе. О некоей сдавленной жестокости. На нем были защитного цвета брюки для верховой езды, хотя он ни разу в жизни не садился на лошадь. В его блестящих сапогах отражалась лампа фотографа. На коленях у него покоился хлыст с рукояткой из слоновой кости.

Безмолвная зоркость мужчины на фотографии подспудно охлаждала теплую комнату, в которой она висела.

После смерти Паппачи от него остались сундуки с дорогими костюмами и жестянка из-под конфет, полная запонок, которые Чакко по одной раздал коттаямским таксистам. Они пошли на кольца и брелоки для их незамужних дочек, которым требовалось приданое.

Когда близнецы спросили, что такое запонки, и получили от Амму ответ: «Застежки для манжет», их поразила логика языка, казавшегося до той поры совершенно нелогичным. Cuff (манжета) + link (застежка) = cufflink (запонка). Точность и стройность не хуже математической. Эти самые запонки привели их в неумеренный, преувеличенный восторг перед английским языком.

Паппачи, сказала Амму, был неисправимым ЧЧП англичан, что в полном виде звучит «чи-чи поч» и в переводе с хинди буквально означает «выгребатель дерьма». Чакко сказал, что на вежливом языке люди вроде Паппачи называются англофилами. Он заставил Рахель и Эсту посмотреть это слово в большом энциклопедическом словаре, изданном «Ридерз дайджест». Там объяснялось: «Лицо, расположенное к англичанам». Затем близнецы должны были найти слово «расположить». Словарь гласил: «1) Разместить в определенном порядке. 2) Добиться благоприятного отношения». Чакко объяснил, что к Паппачи относится второе значение – «добиться благоприятного отношения». Англичане, сказал Чакко, долго били нас и наконец добились от Паппачи и ему подобных благоприятного к себе отношения.

Чакко заявил близнецам, что, как ни тяжело в этом признаваться, все они сплошь англофилы. Англофильская порода. Люди, уведенные в ложном направлении, увязшие вне собственной истории и не способные вернуться назад по своим же следам, потому что следы эти стерты. Он сказал, что история похожа на старый дом среди ночи. В котором зажжены все огни. В котором тихо шепчутся предки.

– Чтобы понять историю, – сказал Чакко, – мы должны войти внутрь и прислушаться к тому, что они говорят. Взглянуть на книги и на развешанные по стенам картины. Вдохнуть запахи.

Эста и Рахель были совершенно уверены, что Чакко имеет в виду вполне определенный дом на той стороне реки, посреди заброшенной каучуковой плантации, где они никогда не были. Дом Кари Сайбу – Черного Сахиба[13 - Сахиб – господин (обращение к иностранцу в колониальной Индии)]. Англичанина, который «отуземился». Который говорил на малайялам и носил мунду. Который был своего рода Курцем[14 - Курц – персонаж романа Дж. Конрада «Сердце тьмы» (1902), образованный человек, жестоко правивший туземцами в отдаленном уголке Африки.] Айеменема. Который сделал это место своим Сердцем Тьмы. Он пустил себе пулю в лоб десять лет назад, когда родители мальчика, с которым он жил, забрали его домой и отдали в школу.

После самоубийства хозяина его имущество стало предметом длительной тяжбы между поваром Кари Сайбу и его секретарем. Все эти годы дом пустовал. Видели его очень немногие. Близнецы, однако, явственно представляли его себе.

Исторический Дом.

Прохладные каменные полы, тусклые стены и плывущие, качающиеся тени-корабли. Пухлые полупрозрачные ящерицы, живущие позади старых картин; дряхлые предки с восковыми лицами, жесткими безжизненными ногтями на ногах и запахом пожелтевших географических карт изо рта; их бумажные шелестящие шепотки.

– Но войти туда мы не можем, – объяснял Чакко, – потому что дверь закрыта. А когда мы заглядываем снаружи в окна, мы видим только тени. А когда мы прислушиваемся, до нас доносится только шепот. И понять, о чем они шепчут, мы не можем, потому что разум наш захлестнула война. Война, которую мы выиграли и проиграли. Самая скверная из войн. Война, которая берет в плен мечты и перекраивает их. Война, которая заставила нас восхищаться нашими поработителями и презирать себя.

– Сказал бы лучше – жениться на наших поработительницах, – заметила Амму сухо, имея в виду Маргарет-кочамму. Чакко пропустил шпильку мимо ушей. Он заставил близнецов найти в словаре слово презирать. Там объяснялось: смотреть сверху вниз; относиться пренебрежительно; не уважать.

Чакко сказал, что в контексте войны, о которой он вел речь, – Войны за Мечты – презирать означает и то, и другое, и третье.

– Мы Бывшие Военнопленные, – сказал Чакко. – Нам внушили чужие мечты. Мы не помним родства. Мы плывем без якоря по бурному морю. Ни одна гавань нас не принимает. Нашим печалям вечно не хватает глубины. Нашим радостям – высоты. Нашим мечтам – размаха. Нашим жизням – весомости. Чтобы иметь какой-либо смысл.

Потом, чтобы Эста и Рахель учились видеть все в мудром свете исторической перспективы (хотя в последующие недели именно мудрости будет катастрофически не хватать самому Чакко), он рассказал им про Землю-

Женщину. Вообразите, потребовал он, что Земля, которой на самом деле четыре миллиарда шестьсот миллионов лет, – это сорокашестилетняя женщина, ровесница, скажем, Алеяммы, вашей учительницы языка малаялам. Вся жизнь Земли-Женщины ушла на то, чтобы она приобрела свой теперешний вид. Чтобы разверзлись океаны. Чтобы воздвиглись горы. Земле-Женщине было одиннадцать лет, сказал Чакко, когда появились первые одноклеточные организмы. Первые животные – черви, медузы и подобные им существа – возникли, когда ей было сорок. Всего восемь месяцев назад, когда ей уже стукнуло сорок пять, по земле еще бродили динозавры.

– Вся известная нам человеческая цивилизация, – сказал Чакко близнецам, – длится не более двух часов. Примерно столько же, сколько мы тратим на поездку из Айеменема в Кочин.

Проникаешься благоговением и смирением, сказал Чакко (благоговение – смешное слово, подумала Рахель, – бла-бла-бла, го-го-го...), когда думаешь, что вся современная история – с ее Мировыми Войнами, Войнами за Мечты, Высадками На Луне, с ее наукой, литературой, философией, стремлением к познанию – длится не дольше, чем один вдох Земли-Женщины.

– А мы с вами, милые мои, сколько мы живем и сколько еще проживем, длимся не дольше, чем блик в ее мерцающих глазах, – торжественно сказал Чакко, лежа на кровати и уставив взгляд в потолок.

Когда Чакко был в таком настроении, он говорил своим Читающим Вслух голосом. Его комната начинала походить на церковь. Ему не важно было, слушают его или нет. А если слушали, ему не важно было, понимают его или нет. Амму в таких случаях говорила, что он Поехал в Оксфорд.

Потом, в свете того, что случилось, мерцающих казалось совершенно не тем словом, какое могло передать выражение глаз Земли-Женщины. Мерцающих – богатое, царское слово.

Хотя рассказ о Земле-Женщине произвел на близнецов впечатление, гораздо сильнее их заинтриговал – потому что был гораздо ближе – Исторический Дом. Они часто о нем думали. О доме на той стороне реки.

Мрачно высящемся в Сердце Тьмы.

О доме, куда они не могли войти, полном шепотков, которых они не могли понять.

Они не знали тогда, что вскоре войдут в этот дом. Что, переправившись через реку, они будут там, где им не положено быть, с человеком, которого им не положено любить. Что на задней веранде их круглым, как блюдца, глазам будет явлена история.

В том возрасте, когда другие дети получают знания другого рода, Эста и Рахель узнали, как история добивается от людей своего и взыскивает долги с тех, кто нарушает ее законы. Они слышали ее удары. Почуяли ее тошнотворный запах, которого им не суждено было забыть.

Запах истории.

Словно от старых роз принесло ветром.

Теперь она неистребимо будет таиться в самом обыденном. В вешалках для одежды. В помидорах. В плоских пятнах гудрона на шоссе. В оттенках некоторых цветов. В ресторанных блюдцах. В бессловесности. И в опустелости глаз.

Взрослея, они будут пытаться найти способы жить с тем, что случилось. Они будут убеждать себя, что в масштабах геологических эпох это было незначительное происшествие. Длившееся гораздо меньше, чем один вдох Земли-Женщины. Что случилось и Худшее. Что Худшее случилось постоянно. Но успокоения эти мысли не принесут.

Чакко сказал, что просмотр «Звуков музыки» – это продолжительное упражнение в англофилии. Амму ответила:

– Да ладно тебе, этот фильм смотрят по всему миру. Это Международный Лидер Проката.

– И тем не менее, дорогая моя, – сказал Чакко своим Читающим Вслух голосом. – Тем. Не. Менее.

Маммачи часто повторяла, что Чакко всерьез можно считать одним из умнейших людей Индии. «Кто это сказал? – спрашивала ее Амму. – На чем ты основываешься?» Маммачи приводила слова одного из оксфордских «донов» (переданные ей самим Чакко) о том, что, по его мнению, Чакко – выдающаяся личность и он вполне мог бы стать премьер-министром.

На что Амму всегда отвечала: «Ха! Ха! Ха!» – прямо как персонажи комиксов.

Она говорила, что

а) если человек просиживал штаны в Оксфорде, это еще не значит, что он поумнел;

б) чтобы стать хорошим премьер-министром, ума недостаточно;

в) если он не может безубыточно управлять даже консервной фабрикой, как он собирается управлять целой страной?

И самое главное:

г) все индийские матери свихнуты на своих сыновьях и поэтому не в состоянии трезво оценить их способности.

Чакко в ответ говорил, что

а) он не просиживал штаны, а учился в Оксфорде.

И

б) не просто учился, а прошел полный курс.

– Вот именно, курс, – отвечала на это Амму. – Курс носом в землю. Как у твоих любимых самолетиков.

Амму утверждала, что о способностях Чакко лучше всего говорит печальная, но совершенно предсказуемая судьба собираемых им авиамоделей.

Раз в месяц (кроме периода муссонных дождей) Чакко получал экспресс-почтой коробку. В ней неизменно находился набор для авиамоделирования. На то, чтобы собрать самолетик с крохотным бензобакком, моторчиком и пропеллером, у Чакко обычно уходило дней восемь-десять. Закончив работу, он брал Эсту и Рахель в наттакомские рисовые поля, чтобы ассистировали при запуске. Полет никогда не продолжался больше минуты. Из месяца в месяц тщательно собираемые Чакко летательные аппараты пикировали в зеленую слякоть рисовых полей, после чего Эста и Рахель, как хорошо натасканные ретриверы, кидались за обломками.

Хвост, бензобак, крыло.

Раненая машина.

Комната Чакко была полна сломанных самолетиков. Каждый месяц приходил новый набор. Чакко никогда не возлагал вину за падения на поставщиков.

* * *

После смерти Паппачи Чакко ушел с преподавательской должности в Мадрасском христианском колледже и приехал в Айеменем с Веслом из Бэллиол-колледжа и с мечтаниями о судьбе Консервного Барона. Он употребил свои пенсионный и страховой фонды на покупку машины «Бхарат» для закрывания банок. Его весло, на котором золотыми буквами были написаны фамилии товарищей по команде, теперь висело на железных кольцах на стене фабрики.

До приезда Чакко фабрика была маленьким, но доходным предприятием. Маммачи хозяйничала там, как на большой кухне. Чакко зарегистрировал фабрику как товарищество и уведомил Маммачи, что отныне она пассивный партнер. Он закупил оборудование (машины для изготовления и запайки жестянок, котлы и плиты для варки) и нанял новых работников. Почти сразу денежные дела стали ухудшаться; Чакко искусственно держал предприятие на плаву за счет сумасбродных займов, которые он брал в банках под залог

принадлежавших семье рисовых полей в окрестностях Айеменема. Хотя Амму отдавала фабрике не меньше сил, чем Чакко, он, имея дело с инспекторами и сантехниками, всегда говорил: мое предприятие, мои ананасы, мои соленья. Формально он был прав, потому что Амму как дочь не имела никаких прав на собственность.

Чакко сказал Рахели и Эсте, что Амму лишена Места Под Солнцем.

– Спасибо нашему замечательному обществу с его поганым мужским шовинизмом, – сказала Амму. А Чакко на это:

– Что твое – то мое, а что мое – то опять же мое.

У него был удивительно визгливый смех для мужчины его роста и толщины. Смеясь, он вроде бы не двигался и в то же время весь трясся.

До приезда Чакко в Айеменем фабрика Маммачи не имела названия. Ее соленья и джемы были для всех просто «молодыми манго Соши», «банановыми джемами Соши». Соша – это было уменьшительное имя Маммачи. Сошамма.

Не кто иной, как Чакко, дал фабрике название «Райские соленья и сладости» и заказал типографии товарища К. Н. М. Пиллея соответствующие наклейки. Поначалу он хотел, чтобы это были «Дионисийские соленья и сладости», но все воспротивились, сказав, что «Дионисийские», в отличие от «Райских», никому не понятно и не связано с местными представлениями. (Предложение товарища Пиллея – «Парашурамские соленья»[15 - Парашурама – одна из аватар (т. е. воплощений) бога Вишну в индуистской мифологии. Миссия Парашурамы на земле состояла в свержении тирании кшатриев (военной знати), что могло быть привлекательно для коммуниста Пиллея.] – было отклонено по противоположной причине: слишком уж сильная связь с местными представлениями.)

Не кому иному, как Чакко, принадлежала идея установить на крыше «плимута» разрисованные рекламные щиты.

Теперь, по дороге в Кочин, они тряслись и грохотали, как будто хотели свалиться.

Около Вайкома они остановились, чтобы купить веревку и укрепить их получше. Это задержало их еще на двадцать минут. Рахель забеспокоилась: как бы они не опоздали на «Звуки музыки».

Потом, уже недалеко от Кочина, когда перед ними вдруг опустилась красно-белая рука шлагбаума, Рахель подумала, что причина – именно ее надежда проскочить это место.

Она еще не научилась обуздывать свои Надежды. Эста сказал, что это Недобрый Знак.

Теперь они уже точно не успевали на начало фильма. Когда Джули Эндрюс возникает сперва пятнышком на холме, потом приближается, приближается и вырастает во весь экран, а голос ее – как холодная вода, дыхание – как сладкая мята.

На красно-белой руке была белая надпись СТОП на красной дощечке.

– ПОТС, – сказала Рахель.

На желтом щите было написано красным: ИНДИЕЦ, ПОКУПАЙ ИНДИЙСКОЕ.

– ЕОКСЙИДНИ ЙАПУКОП, ЦЕИДНИ, – сказал Эста.

Близнецы рано начали читать. Они быстро одолели «Старого пса Тома, Джанет и Джона» и «Книжки Рональда Ридаута». По вечерам Амму читала им вслух «Книгу джунглей» Киплинга:

День пятится прочь, спускается ночь

На крыльях нетопыря...

Пушок у них на руках вставал дыбом, золотясь в свете лампы на ночном столике. Амму рычала, изображая Шер-Хана и скулила, изображая Табаки:

– «Захотим, захотим»! Какое мне дело? Клянусь буйволом, которого я убил, долго мне еще стоять, уткнувшись носом в ваше собачье логово, и ждать того, что мне полагается по праву? Это говорю я, Шер-Хан![16 - Здесь и ниже «Книга Джунглей» Р. Киплинга в переводе Н. Дарузес.]

– А отвечаю я, Ракша (Демон), – громко кричали близнецы. Не совсем одновременно, но почти.

– Человечий детеныш мой, Лангри, и останется у меня! Его никто не убьет. Он будет жить и охотиться вместе со Стаей и бегать вместе со Стаей! Берегись, охотник за голыми детенышами, рыбоед, убийца лягушек, – придет время, он поохотится за тобой!

* * *

Крошка-кочамма, отвечавшая за их формальное образование, прочла им шекспировскую «Бурю» в пересказе Чарльза и Мэри Лэм.

– Буду я среди лугов, – твердили потом Эста и Рахель, – пить, как пчелы, сок цветов[17 - «Буря», акт V, сцена 1 (перевод Мих. Донского).].

Поэтому, когда мисс Миттен, миссионерка из Австралии и знакомая Крошки-кочаммы, подарила, приехав в Айеменем, Эсте и Рахели детскую книжонку – «Приключения белочки Сюзи», – они были оскорблены до глубины души. Сперва они прочли ее как положено. Однако потом, когда они вслух прочли ее, произнося слова задом наперед, мисс Миттен, принадлежавшая к секте «заново рожденных христиан», сказала, что они ее Чуточку Огорчили.

– яинечюлкирП икчолерб изюС. ыджандО миннесев морту акчолерб изюС...

Они продемонстрировали мисс Миттен, что малаялам (если вставить лишнее «а») и Аргентина манит негра читаются туда и сюда одинаково. Но ее это не позабавило, и оказалось, что она даже не знает, что такое малаялам. Они объяснили ей, что это язык, на котором говорят в штате Керала. Она сказала, что у нее создалось представление, будто он называется «керальский». Эста, который страшно невзлюбил мисс Миттен, ответил, что это, по его мнению, Глупейшее Представление.

Мисс Миттен пожаловалась Крошке-кочамме как на грубость Эсты, так и на их чтение задом наперед. Она сказала Крошке-кочамме, что увидела в их глазах лик сатаны. Кил ынатас.

Им пришлось писать: Я не буду читать задом наперед. Я не буду читать задом наперед. И так сто раз. Слева направо, как положено.

Через несколько месяцев, вернувшись к себе в Хобарт, мисс Миттен погибла. Она попала под молоковоз, переходя дорогу около крикетной площадки. Близнецы увидели руку возмездия в том, что молоковоз давал задний ход.

По обе стороны железнодорожных путей стали скапливаться легковушки и автобусы. «Скорая помощь» с надписью «Больница Святого Сердца» была полна людей, ехавших на свадьбу. Лицо невесты, которая смотрела наружу в заднее окно, частично заслонял большой обшарпанный красный крест.

У всех автобусов были девичьи имена. Люсикутти, Молликутти, Бина-моль. «Моль» означает на малаялам «девочка», «мон» – «мальчик»; «кутти» – уменьшительный суффикс. «Бина-моль» была полна паломников с выбритыми в Тирупати[18 - Тирупати – крупнейший центр индуизма в штате Андхра-Прадеш.] головами. В окне автобуса Рахель видела шеренгу гладких голов, а чуть пониже, на равном расстоянии один от другого, – подтеки рвоты. Рвота вообще внушала ей немалое любопытство. Ее никогда не рвало. Ни разу в жизни. А вот с Эстой это случалось, и тогда его кожа становилась горячей и блестящей, глаза – беспомощными и прекрасными, и Амму любила его больше обычного. Чакко говорил, что Эста и Рахель – до неприличия здоровые дети. И Софи-моль тоже. По его словам, они не пострадали от Инбридинга[19 - Инбридинг – получение потомства от родственных особей.], в отличие от большинства сирийских христиан. И парсов.

Маммачи на это отвечала, что ее внук и внучка пострадали от чего-то гораздо худшего, чем Инбридинг. Она имела в виду развод родителей. Выходило, что люди должны выбирать из двух зол: либо Инбридинг, либо Развод.

Рахель не знала точно, от какого зла она пострадала, но иногда на всякий случай делала перед зеркалом печальное лицо и вздыхала.

– То, что я делаю сегодня, неизмеримо лучше всего, что я когда-либо делал, – говорила она горестно. Рахель, она же Сидни Картон, она же Чарльз Дарней, произносила эти слова перед казнью на гильотине в диккенсовской «Повести о двух городах», адаптированной для детской серии «Иллюстрированная классика».

Она удивленно задумалась о том, почему лысых паломников рвало так единообразно, и о том, как это происходило во времени, – единым оркестровым порывом (возможно, под музыку, под ритм автобусного бхаджана[20 - Бхаджан – индуистский религиозный гимн.]) или отдельно, по очереди.

Вначале, когда шлагбаум только закрылся, Воздух был полон нетерпеливого пыхтенья работающих вхолостую моторов. Но когда человек, обслуживающий переезд, вышел из будочки на своих гнущихся в обратную сторону ногах и, проковыляв к чайному лотку, дал тем самым понять, что ждать придется долго, водители стали глушить моторы и вылезать из машин, чтобы размяться.

Небрежным кивком заспанной, скучающей головы Шлагбаумное Божество заставило материализоваться перебинтованных нищих и людей с подносами, торгующих ломтиками кокосовой мякоти и гороховыми лепешками на банановых листьях. Еще холодными напитками. Кока-колой, фантой, «розовым молоком».

У окна их машины появился прокаженный в грязных бинтах.

– Ненатуральный цвет, – сказала Амму, имея в виду подозрительно яркую кровь на повязках.

– Поздравляю, – отозвался Чакко. – Подлинно буржуазное высказывание.

Амму улыбнулась, и они пожали друг другу руки, точно она и вправду получила от него документ, удостоверяющий ее Подлинную-Преподлинную Буржуазность. Такие моменты близнецы ценили и нанизывали их, как драгоценные бусины, на нить своего (честно говоря, довольно реденького) ожерелья.

Рахель и Эста прижали носы к окошкам «плимута». Томящиеся зефирины, а позади них – смутно различимые дети. «Нет», – жестко и непререкаемо сказала Амму.

Чакко зажег сигарету «чарминар». Сделал глубокую затяжку, потом снял с языка попавшую на него крошку табака.

В салоне «плимута» Рахели не так-то просто было взглянуть на Эсту, потому что Крошка-кочамма возвышалась между ними как холм. Амму специально рассаживала их, чтобы они не дрались. Когда у них происходили ссоры, Эста обзывал Рахель Мушкой Дрозофилой. Рахель дразнила его Элвисом-Пелвисом[21 - Так прозвали знаменитого американского эстрадного певца Элвиса Пресли (1935–1977), намекая на его движения тазом во время выступлений («pelvis» в ряде европейских языков означает «таз»)]. и вихляво плясала перед ним, чем приводила его в бешенство. Из-за примерного равенства сил бой, когда им случалось драться всерьез, длился до бесконечности, и все, что неудачно стояло, – пепельницы, графины, настольные лампы – разбивалось или непоправимо ломалось.

Крошка-кочамма держалась за спинку переднего сиденья обеими руками. Во время езды жир на них колыхался, как тяжелое от влаги белье на ветру. Теперь же он свисал кожистым занавесом, отделяя Эсту от Рахели.

Со стороны Эсты у дороги стояла чайная палатка, где, помимо чая, торговали лежалым и засиженным мухами глюкозным печеньем в коробках из мутного стекла. Продавали газированный лимонад в толстых бутылках с голубыми мраморными затычками, чтобы не выходил газ. Унылая надпись на красном ящике со льдом гласила: С кока-колой дела пойдут лучше.

На каменном дорожном указателе, скрестив ноги и безупречно держа равновесие, сидел Мурлидхаран, псих этого переезда. Его мужские органы свисали вниз, указывая на надпись:

На Мурлидхаране не было ничего, кроме высокого пластикового пакета, водруженного кем-то ему на голову наподобие прозрачного поварского колпака. Сквозь пакет видна была местность – мутная, кухонная, но все же доступная зрению. Мурлидхаран не смог бы снять пакет, даже если бы захотел, потому что у него не было рук. Их оторвало в Сингапуре в сорок втором, всего через несколько дней после того, как он, сбежав из дому, вступил в ряды действующей «Индийской национальной армии»[22 - «Индийская национальная армия», которой командовал Субхас Чандра Бос, была создана в 1942 г. в Сингапуре в основном из военнопленных индийцев и воевала в Бирме против Англии на стороне Японии.]. После установления независимости он получил удостоверение «ветерана освободительной борьбы 1-й группы» и документ о пожизненном праве бесплатного железнодорожного проезда в первом классе. Все это он потерял (вместе с рассудком) и теперь уже не мог жить в поездах и станционных залах ожидания. У Мурлидхарана не было дома, и следовательно, ему нечего было запирать, однако старые ключи висели у него на бечевке, аккуратно обвязанной вокруг талии. Поблескивающая связка. Его ум был полон шкафчиков, где хранились тайные радости.

Будильник. Красный автомобиль с музыкальным гудком. Красная кружка для ванной комнаты. Жена с брильянтом. Чемоданчик с важными бумагами. Возвращение домой после работы в фирме. «Мне очень жаль, полковник Сабхапати, но это мое последнее слово». И хрустящие банановые чипсы для детишек.

Он смотрел на приходящие и уходящие поезда. И пересчитывал ключи.

Он смотрел на приходящие и уходящие правительства. И пересчитывал ключи.

Он смотрел на смутно различимых детей с томящимися носами-зефиринами за стеклами автомобилей.

Мимо его окна тащились бездомные, беспомощные, больные, нищие и увечные. Он знай себе пересчитывал ключи.

Ведь мало ли, когда какой шкафчик вдруг понадобится открыть.
Со сваявшимися волосами и глазами-окнами он сидел на раскаленном камне и был рад возможности иногда отвлечься. Пересчитать и перепроверить ключи.

Счет – хорошо.

Оцепенение – еще лучше.

Считая, Мурлидхаран шевелил губами и явственно произносил слова.

Оннер.

Рендер.

Муннер.[23 - Оннер, рендер, муннер (малаялам) – один, два, три.]

Эста заметил, что на голове у него волосы седые и курчавые, под оставшимися от рук буграми – черные, лохматые и беспокойные от ветра, в промежности – черные и жесткие. У одного человека три сорта волос. Эста задумался, как такое возможно. Он не знал, кого спросить.

Рахель до того переполнилась Ожиданием, что готова была лопнуть.
Она посмотрела на свои часики. Без десяти два. Она думала про Джули Эндрюс и Кристофера Пламмера, целовавшихся наклонно, чтобы не столкнуться носами. Ей было неясно, всегда ли влюбленные так целуются. Она не знала, кого спросить.

Какой-то гул стал надвигаться издалека на застрявший транспорт и наконец накрыл его с головой. Водители, вышедшие было размять ноги, вернулись по машинам и захлопнули за собой дверцы. Нищих и торговцев как ветром сдуло. Пара минут – и дорога была пуста. Остался один Мурлидхаран. По-прежнему жарил задницу на раскаленном камне. Ощущая разве что слабое любопытство, но никак не тревогу.

Шум, гомон. И полицейские свистки.

Позади ожидающих, накапливающихся машин возникла людская колонна: красные флаги, плакаты и нарастающий гул.

- Поднимите стекла, - сказал Чакко. - И спокойно. Они нам ничего не сделают.

- Может, с ними пойдешь, а, товарищ? - спросила его Амму. - А я за руль сяду.

Чакко ничего не ответил. Под жировой подушечкой у него на подбородке напрягся мускул. Он выкинул в окно сигарету и поднял стекло.

Чакко называл себя марксистом. Он приглашал к себе в комнату хорошеньких работниц семейной фабрики и под предлогом разъяснения прав трудящихся и законов о профсоюзах безобразно с ними заигрывал. Он называл каждую товарищем и требовал, чтобы они называли его так же (они в ответ хихикали). К их изумлению и к смятению Маммачи, он сажал их с собой за стол и поил чаем.

Один раз он даже свозил нескольких в Алеппи, в профсоюзный лекторий. Туда - автобусом, обратно - на лодке. Девушки вернулись довольные, со стеклянными браслетами на запястьях и цветами в волосах.

Амму сказала, что все это фальшь и показуха. Избалованный барин решил поиграться в «товарищей». Оксфордская аватара старой доброй заминдарской ментальности: помещик, навязывающий свою благосклонность зависимым от него женщинам.

Когда демонстранты приблизились, Амму подняла свое стекло. Эста - свое. Рахель - свое (не без труда, потому что от рукоятки отвалилась черная пупочка).

Вдруг лазурного цвета «плимут» стал выглядеть на узкой выщербленной дороге неуместно роскошным и дородным. словно протискивающаяся коридором пышнотелая дама. словно Крошка-кочамма в церкви, прокладывающая себе путь к хлебу и вину.

- Смотрите вниз! - сказала Крошка-кочамма, когда передние ряды демонстрантов поравнялись с машиной. - Не встречайтесь с ними взглядом. Это их больше всего провоцирует.

Сбоку у нее на шее дергался пульс.

Мигом дорогу затопила громадная толпа. Автомобили стали островами в людском потоке. В воздухе было красно от флагов, которые наклонялись и выпрямлялись вновь, когда люди подныривали под шлагбаум и перекатывались через железнодорожные пути алой волной.

Тысячи голосов слились над замершим транспортом в один Шумовой Зонтик.

– Инкилаб зиндабад! Тожилали экта зиндабад! Да здравствует революция!
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Даже Чакко не мог удовлетворительно объяснить, почему коммунистическая партия была в штате Керала намного популярнее, чем в остальной Индии, за исключением разве что Бенгалии.

На этот счет существовало несколько теорий. Согласно одной из них, причиной было большое количество христиан в этом штате. Двадцать процентов населения Кералы составляли сирийские христиане, считавшие, что происходят от ста брахманов, которых обратил в христианство апостол Фома, отправившийся на Восток после Воскресения Христова. В структуре сознания, как утверждали сторонники этой довольно примитивной теории, марксизм просто занял место христианства. Если Бога заменить Марксом, сатану – буржуазией, рай – бесклассовым обществом, церковь – партией, то цель и характер путешествия останутся прежними. Гонка с препятствиями, в конце которой обещан приз. В то время как индуистскому уму нужна более замысловатая перестройка.

Главная неувязка этой теории заключалась в том, что в штате Керала сирийские христиане большей частью были зажиточными землевладельцами (или, скажем, владельцами консервных фабрик), для которых коммунизм был хуже смерти. Они всегда голосовали за Национальный конгресс.

Другая теория объясняла популярность коммунистов сравнительно высоким уровнем грамотности в штате. Так-то оно так, однако высокий уровень грамотности скорее можно считать следствием коммунистической пропаганды.

Секрет заключался в том, что коммунизм проник в Кералу тихой сапой. Как реформистское движение, никогда реально не ставившее под вопрос традиционные ценности разделенного на касты, чрезвычайно консервативного общества. Марксисты работали внутри сложившейся системы, бросая ей вызов на словах, но отнюдь не на деле. Они предлагали некий революционный коктейль. Хмельную смесь из восточного марксизма и ортодоксального индуизма, слегка облагороженную демократией.

Чакко еще в юности был обращен в коммунистическую веру и, хотя не состоял в партии формально, во всех исторических перипетиях оставался ее убежденным сторонником.

Он был студентом Делийского университета во время эйфории 1957 года, когда коммунисты выиграли выборы в законодательное собрание штата и Неру предложил им сформировать правительство. Премьер-министром первого в мире демократически избранного коммунистического правительства стал кумир Чакко – товарищ Э. М. Ш. Намбудирипад, пламенный брахман-первосвященник керальских марксистов. Внезапно коммунисты оказались в странном – недоброжелатели говорили, нелепом – положении: им приходилось одновременно быть властью и призывать к революции. О том, как это совместить, товарищ Э. М. Ш. Намбудирипад рассказал в книге, где излагалась разработанная им теория. Чакко изучал его «Мирный переход к коммунизму» со всей юной одержимостью и безоговорочным одобрением слепого приверженца. Там подробно разъяснялось, как правительство товарища Э. М. Ш. Намбудирипада намерено провести земельные реформы, нейтрализовать полицию, подчинить себе судебную систему и «Ограничить Вмешательство Реакционного Антинародного Конгрессистского Центрального Правительства».

Увы, и года не прошло, как Мирный этап Мирного Перехода кончился.

Каждое утро за завтраком Королевский Энтомолог изводил своего неуступчивого сына-марксиста, читая вслух газетные сообщения о сотрясавших Кералу беспорядках, забастовках и жестоких полицейских расправах.

– Ну что, Карл Маркс? – издевательски спрашивал Паппачи, когда Чакко садился за стол. – Как прикажешь быть с этой студенческой швалью? Опять, черт бы их драл, агитируют против нашего Народного Правительства. Может, поубивать всех, и дело с концом? Ведь они же не Народ – так, студентишки.

За два последующих года политический конфликт, подогреваемый партией Конгресса и церковью, перерос в анархию. Когда Чакко получил диплом бакалавра гуманитарных наук и отправился в Оксфорд за новым дипломом, штат Керала балансировал на грани гражданской войны. Неру распустил коммунистическое правительство и назначил новые выборы. К власти вернулась партия Конгресса.

Только в 1967 году – почти ровно через десять лет после первой победы коммунистов – партия товарища Э. М. Ш. Намбудирипада вновь пришла к власти. На этот раз в составе коалиции двух ныне отдельных партий – Коммунистической партии Индии и Коммунистической партии Индии (марксистской). КПИ и КПИ(м).

Паппачи к тому времени уже умер. Чакко развелся. «Райским соленьям» было семь лет.

Штат Керала еле брел, пораженный засухой из-за недостаточно обильных муссонных дождей. Люди умирали. Борьба с голодом должна была стать первоочередной задачей любого правительства.

Во время своего второго правления товарищ Э. М. Ш. уже осторожнее проводил в жизнь план Мирного Перехода. Этим он навлек на себя неудовольствие Коммунистической партии Китая. Его обвинили в «парламентском кретинизме» и в том, что он, «бросая людям подачки, затуманивает Народное Сознание и отвлекает людей от Революции».

Пекин переключил свое покровительственное внимание на недавно возникшую воинственную фракцию КПИ(м) – на так называемых наксалитов, которые подняли в бенгальском селении Наксалбари вооруженное восстание. Они сколотили из крестьян боевые отряды, экспроприировали землю, изгнали ее владельцев и учредили Народные Суды для разбора дел Классовых Врагов. Движение наксалитов распространилось по всей стране, сея ужас в буржуазных сердцах.

В Керале наксалиты вдохнули струю возбуждения и паники в атмосферу, и без того насыщенную страхом. На севере штата начались убийства. В мае того года газеты поместили размытую фотографию казненного землевладельца из Пальгхата, которого привязали к фонарному столбу и обезглавили. Его голова

лежала боком поодаль от тела в темной луже – то ли водяной, то ли кровавой. Трудно было определить по черно-белому снимку. К тому же темноватому из-за предутренних сумерек.

Его открытые глаза выражали удивление.

Товарищ Э. М. Ш. Намбудирипад («Трусливый Пес, Советский Прихвостень») исключил наксалитов из партии и продолжал обуздывать народный гнев, вводя его в парламентское русло.

Демонстрация, настигшая лазурного цвета «плимут» в тот лазурный декабрьский день, была частью этой политики. Она была организована Марксистским Профсоюзным Объединением Траванкура-Кочина. А в Тривандраме, главном городе штата, другие Демонстранты должны были пройти к Секретариату и вручить петицию с Народными Требованиями самому товарищу Э. М. Ш. Оркестр обращается к своему дирижеру. Требования заключались в том, чтобы батраки на рисовых полях, работающие одиннадцать с половиной часов в день – с семи утра до шести тридцати вечера, – получили часовой обеденный перерыв. Чтобы женщинам платили в день не рупию двадцать пять, а три рупии; мужчинам – не две рупии пятьдесят пайс, а четыре рупии пятьдесят пайс. И чтобы к именам неприкасаемых перестали добавлять обозначения каст. То есть чтобы их называли не Ачу-парейян, Келан-параван, Куттан-пулайян[24 - Парейян (барабанщик, кожевник), параван (рыбак), пулайян (стиральщик) – обозначения низших каст внутри сословия неприкасаемых.], а просто Ачу, Келан, Куттан.

Кардамонные Короли, Кофейные Графы, Каучуковые Бароны – приятели еще с пансионских лет, – приехав из своих уединенных, разбросанных поместий, потягивали в Мореходном клубе холодное пиво. Поднимали стаканы. «То, что зовем мы розой...»[25 - Здесь иронически переосмыслены слова шекспировской Джульетты: «Что в имени? То, что зовем мы розой, / И под другим названьем сохраняло б / Свой сладкий запах!» (акт II, сцена 2; перевод Т. Щепкиной-Куперник).] – говорили они и сдавленно посмеивались, маскируя подступающую панику.

* * *

Колонна демонстрантов состояла из партийных активистов, студентов, батраков и рабочих. Прикасаемых и не-. Они несли на плечах тяжелый сосуд старинного гнева, подожженного от нового фитиля. В этом гневе чувствовался нынешний, наксалитский привкус.

Сквозь стекло «плимута» Рахель видела глазами, что из всех слов, какие звучат, самое громкое – зиндабад, да здравствует. Что, когда оно звучит, на шеях у людей взбухают жилы. И что руки, в которых люди держат флаги и плакаты, узловаты и напряженны.

В салоне «плимута» было тихо и жарко.

Страх Крошки-кочаммы лежал на полу машины, как сырой и липкий окурок сигары. И это было только начало. С годами страх, разросшись, поглотил ее всю. Заставил ее запирать двери и окна. Наградил ее двумя линиями волос и двумя ртами. Он, этот страх, был тоже старинным, из рода в род. Страх лишиться имущества.

Она пыталась считать зеленые бусины четок, но не могла сосредоточиться. Чья-то открытая ладонь ударила по окну машины.

Стиснутый кулак шарахнул по раскаленному лазурному капоту. Он с лязгом откинулся. Теперь «плимут» выглядел как нескладный голубой зверь в зоопарке, выпрашивающий у людей еду.

Хоть булочку.

Хоть бананчик.

Удар другого стиснутого кулака – и капот захлопнулся. Чакко приспустил свое стекло и крикнул тому, кто это сделал, на смеси английского и малайялам:

– Спасибо, кето! Валарей спасибо![26 - Спасибо, слышишь меня? Большое спасибо! (малайялам).]

– Зря заискиваешь, товарищ, – заметила Амму. – Это же вышло случайно. Не хотел он тебе помогать. Откуда он мог знать, что в этой старой машине

бьется пламенное марксистское сердце?

– Амму, – сказал Чакко ровным и нарочито небрежным голосом, – когда ты наконец перестанешь всюду соваться со своим отжившим цинизмом?

Салон машины, как губка, стал напитываться молчанием. Слово «отжившим» садануло, как нож по мякоти. С просверком солнца и судорожным вздохом. Вот в чем беда с близкими родственниками. Как врачи-извращенцы, они знают, где самые больные места.

Тут-то Рахель и увидела Велютту. Велютту, сына Ве?ля Па?пана. Велютту, своего лучшего друга. Он вышагивал с красным флагом. В мунду и белой рубашке, со взбухшими гневными жилами на шее. Обычно он ходил без рубашки. Рахель мигом опустила стекло.

– Велютта! Велютта! – закричала она ему.

Он замер на секунду, держа в руках флаг, вслушиваясь. Знакомый голос звучал там, где он никак не ожидал его услышать. Рахель, вскочив на сиденье машины, торчала из окна «плимута», как гибкий вертлявый рог машиноподобного травоядного. Со стянутым «токийской любовью» фонтанчиком, в красных пластмассовых солнечных очочках в желтой оправе.

– Велютта! Ивидай![27 - Сюда, ко мне (малаялам).] Велютта! – У нее на шее тоже выступили жилы. Он двинулся вбок и мгновенно исчез – нырнул в гневный поток.

В машине Амму резко обернулась, и в глазах у нее был гнев. Она шлепнула Рахель по икрам, потому что все прочее было за окном. Внутри остались только икры да коричневые ступни в сандалиях «бата».

– Как ты себя ведешь! – сказала Амму.

Крошка-кочамма втащила Рахель обратно, и сиденье, когда та опустилась на него, издало удивленный вздох. Они не поняли, решила Рахель.

– Там Велютта! – объяснила она с улыбкой. – У него флаг!

Флаг в ее представлении был вещью замечательной. Тем, что пристало держать хорошему другу.

- Ты глупая, непослушная девчонка! - сказала Амму.

Ее неожиданная злость пригвоздила Рахель к сиденью. Она была озадачена. Почему Амму так разгневалась? Из-за чего?

- Он же правда там! - сказала Рахель.

- Замолчи! - крикнула на нее Амму.

Рахель увидела, что на лбу Амму и над ее верхней губой выступил пот, что глаза ее стали твердыми, как мраморные шарики. Как глаза Паппачи на снимке из венского фотоателье. (Бабочка Паппачи нет-нет да и шелестнет крылышками в крови у его детей!)

Крошка-кочамма подняла опущенное Рахелью стекло.

Много лет спустя прохладным осенним утром, когда Рахель ехала в воскресном поезде от нью-йоркского вокзала Гранд-сентрал до пригородной станции Кротон, это вдруг пришло ей на память. Какое у Амму было лицо. Неприкаянный кусочек головоломки-паззла. Вопросительный знак, странствующий по книжным страницам и не способный найти себе место в конце предложения.

Эта мраморная твердость в глазах Амму. Блеск пота над ее верхней губой. И холодок внезапного обиженного молчания.

Что все это значило?

Воскресный поезд был почти пуст. Через проход от Рахели женщина с усиками и шелушащейся кожей на щеках отхаркивала мокроту в бумажные фунтики, которые делала из воскресных газет, кипой лежавших у нее на коленях. Сверточки, которые у нее получались, она выкладывала аккуратными рядами на пустое сиденье напротив, словно для продажи. За этим занятием она болтала

сама с собой приятным, успокаивающим голосом.

Память была похожа на эту женщину в поезде. Безумна в том, как она перебирала в своей кладовке темные вещицы и выхватывала самое неожиданное – беглый взгляд, ощущение. Запах дыма. Автомобильные «дворники». Мраморные материнские глаза. И совершенно разумна в том, как она оставляла огромные области затемненными. Невспомянными.

Вид помешанной попутчицы успокаивал Рахель. Загонял ее глубже в сумасшедшую утробу Нью-Йорка. Уводил от тех, куда более ужасных вещей, что преследовали ее. Кислометаллический запах, как от стальных автобусных поручней, и запах от ладоней кондуктора, который только что за них держался. Молодой человек, у которого был рот старика.

Выйдя из поезда, она увидела поблескивающий Гудзон и деревья, окрашенные в красно-коричневые осенние цвета. Прохлада чувствовалась лишь намеком.

– Два берега твоей реки... – сказал ей Ларри Маккаслин и мягко положил ладонь на ее протестующе напрягшуюся, прохладную под хлопчатобумажной маечкой грудь. Он удивился тому, что Рахель не улыбнулась.

А она удивилась тому, что все ее воспоминания о доме окрашены в цвета темной, просмоленной лодочной древесины и пустых сердцевин огненных язычков, мерцающих в медных светильниках.

Да, это был Велютта.

Уж в этом-то Рахель была уверена. Что она его видела. Что он видел ее. Она узнала бы его где угодно, когда угодно. Если бы на нем не было рубашки, она узнала бы его даже со спины. Ей ли не помнить его спину, его плечи. На которых он ее носил. Она даже сосчитать не могла, сколько раз. На спине у него было светло-коричневое родимое пятно, похожее на остроконечный сухой лист. Он говорил, что это Лист Удачи, что он приносит муссонные дожди, когда наступает их время. Коричневый лист на черной спине. Осенний лист в ночи.

Лист удачи, который ему не помог.

Он был столяром, хотя это не было ему на роду написано.

Его звали Велютта (что на малайялам означает белый, бледный) из-за черной-пречерной кожи. Его отец Велья Папан был из касты параванов. Он добывал и продавал пальмовый сок. Один глаз у него был стеклянный. Однажды, когда он обтесывал молотком кусок гранита, отскочивший осколок пропорол ему левый глаз.

Мальчиком Велютта приносил с отцом к заднему крыльцу Айеменемского Дома кокосовые орехи, которые они собирали с приусадебных пальм. Паппачи не разрешал параванам входить в дом. И никто не разрешал. Им нельзя было касаться того, чего касались прикасаемые. Индусы высших каст и христиане высших каст. Маммачи рассказывала Эсте и Рахели, что у нее на памяти, во времена ее детства, параваны должны были пятиться назад, замечая веником собственные следы, чтобы брахманы или сирийские христиане случайно не осквернили себя, наступив на отпечаток параванской ноги. В те годы параванам, как и другим неприкасаемым, нельзя было ходить по общественным дорогам, покрывать одеждой верхнюю часть тела, пользоваться зонтами. Разговаривая, они обязаны были загоразживать ладонями рты, оберегая собеседников от своего нечистого дыхания.

Когда на Малабарский берег явились британцы, некоторые из параванов, пелайянов и пулайянов (в их числе Келан, дед Велютты) обратились в христианство и перешли в лоно англиканской церкви, чтобы избавиться от проклятья неприкасаемости. В качестве дополнительного стимула они получали понемногу еды и денег. За это их прозвали «рисовыми христианами». Очень быстро им стало ясно, что они попали из огня да в полымя. Им устроили особые церкви, где особые священники служили особые службы. Им благосклонно разрешили иметь своего, отдельного парию-епископа. После объявления независимости оказалось, что на них не распространяются правительственные льготы – как, например, гарантии занятости или банковские ссуды под низкий процент, – потому что формально, на бумаге они были христиане и, следовательно, вне всяких каст. Это походило на замечание собственных следов без веника. Или даже на запрет оставлять следы вообще.

То, что у маленького Велютты чрезвычайно умелые руки, первая заметила Маммачи в один из своих приездов из Дели, на время избавлявших ее от Королевской Энтомологии. Велютте было тогда одиннадцать, на три года

меньше, чем Амму. Он был прямо-таки маленьким волшебником. Из высушенных пальмовых веток он мастерил замысловатые игрушки – крохотные ветряные мельнички, погремушки, шкатулки; из веток кассавы он вырезал красивые лодочки, из скорлупок ореха кешью делал статуэтки. Он дарил свои изделия Амму, держа их на раскрытой ладони (так он был приучен), чтобы она могла брать их, не касаясь его кожи. Хотя он был моложе ее, он называл ее Аммукутти – маленькая Амму. Маммачи уговорила Велья Папана отдать его в школу для неприкасаемых, которую основал Пуньян Кунджу, ее свекор.

Когда Велютте было четырнадцать лет, в Коттаям приехал Иоганн Кляйн, столяр из баварской гильдии краснодеревщиков; он три года проработал в христианской миссии, где у него была мастерская для обучения столярному делу. Каждый день после школы Велютта ехал на автобусе в Коттаям, где работал с Кляйном дотемна. К шестнадцати годам Велютта окончил среднюю школу и стал профессиональным столяром. Он приобрел весь необходимый инструмент и чисто немецкую ремесленную смекалку. Для Маммачи он сделал из красного дерева обеденный стол в стиле «баухауз» и дюжину стульев, а из более светлой древесины джекфрута – традиционный баварский шезлонг. Для ежегодных рождественских представлений Крошки-кочаммы он смастерил несколько пар ангельских крыльев с каркасами из проволоки и ремешками на манер рюкзаков; еще картонные облака, чтобы из них мог являться архангел Гавриил, и разборные ясли. Когда необъяснимым образом иссякла серебристая струя, испускаемая ее садовым херувимом, именно доктор Велютта привел его выделительную систему в порядок.

Велютта умел не только столярничать, но и обращаться с техникой. Маммачи не раз говорила (вот она, непостижимая логика прикасаемых), что, не будь он параваном, он мог бы стать инженером. Он чинил радиоприемники, часы, водяные насосы. На его попечении были канализация и электропроводка Айеменемского Дома.

Когда Маммачи решила забрать стенкой заднюю веранду, не кто иной, как Велютта, разработал и смастерил скользяще-складную дверь, подобные которой захотели потом иметь чуть ли не все жители Айеменема.

Велютта лучше, чем кто-либо другой, разбирался в оборудовании их фабрики.

Когда Чакко ушел со своей мадрасской работы и вернулся в Айеменем с машиной «Бхарат» для закрывания банок, не кто иной, как Велютта,

смонтировал ее и пустил в ход. Велютта поддерживал в рабочем состоянии новую машину для изготовления жестянок и автомат для резки ананасов. Он же смазывал водяной насос и дизельный движок. Он же сделал крытые алюминиевым листом разделочные столы, удобные для мытья; он же соорудил варочные печи для фруктов.

А вот Велья Папан, отец Велютты, был параван старого образца. Он хорошо помнил Времена, Когда Пятились Назад, и его благодарность Маммачи и ее родственникам за все, что они для него сделали, была широка и глубока, словно река в половодье. Когда случилась беда с осколком гранита, Маммачи купила ему стеклянный глаз. За много лет он так и не отдал ей долг, и хотя этого, он знал, от него и не ждали, понимая, что таких денег у него никогда не будет, все же он постоянно чувствовал, что глаз не его. Благодарность заставляла его спину гнуться, рот – растягиваться в улыбке.

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

Сноски

1

Дхоби (хинди) – мужчина-прачка. Здесь и далее – примечания переводчика.

2

Малаялам – язык народа малаяли, населяющего штат Керала в южной Индии, где происходит действие романа.

3

Вешья (хинди) – проститутка.

4

Мунду – традиционная одежда наподобие юбки, спускающейся ниже колен. Мунду носят и мужчины, и женщины.

5

Кочу (малаялам) – маленькая.

6

Тодди – разновидность пунша.

7

Апостол Фома считается основоположником христианства в Индии.

8

Ути (Утакаманд) – курорт в южной Индии.

9

Цитата из романа Ф. С. Фитцджеральда «Великий Гэтсби» (перевод Е. Калашниковой).

10

Заминдары – землевладельцы, платившие земельный налог английским колониальным властям.

11

Коши, Ууммен – типичные имена сирийских христиан в южной Индии.

12

Катхакали (на языке малаялам буквально: представление рассказа) – традиционное представление национального театра южной Индии на мифологические сюжеты.

13

Сахиб – господин (обращение к иностранцу в колониальной Индии).

14

Курц – персонаж романа Дж. Конрада «Сердце тьмы» (1902), образованный человек, жестоко правивший туземцами в отдаленном уголке Африки.

15

Парашурама – одна из аватар (т. е. воплощений) бога Вишну в индуистской мифологии. Миссия Парашурамы на земле состояла в свержении тирании кшатриев (военной знати), что могло быть привлекательно для коммуниста Пиллея.

16

Здесь и ниже «Книга Джунглей» Р. Киплинга в переводе Н. Дарузес.

17

«Буря», акт V, сцена 1 (перевод Мих. Донского).

18

Тирупати – крупнейший центр индуизма в штате Андхра-Прадеш.

19

Инбридинг – получение потомства от родственных особей.

20

Бхаджан – индуистский религиозный гимн.

21

Так прозвали знаменитого американского эстрадного певца Элвиса Пресли (1935–1977), намекая на его движения тазом во время выступлений («pelvis» в ряде европейских языков означает «таз»).

22

«Индийская национальная армия», которой командовал Субхас Чандра Бос, была создана в 1942 г. в Сингапуре в основном из военнопленных индийцев и воевала в Бирме против Англии на стороне Японии.

23

Оннер, рендер, муннер (малаялам) – один, два, три.

24

Парейян (барабанщик, кожевник), параван (рыбак), пулайян (стиральщик) – обозначения низших каст внутри сословия неприкасаемых.

25

Здесь иронически переосмыслены слова шекспировской Джульетты:
«Что в имени? То, что зовем мы розой, / И под другим названьем сохраняло б /
Свой сладкий запах!» (акт II, сцена 2; перевод Т. Щепкиной-Куперник).

26

Спасибо, слышишь меня? Большое спасибо! (малаялам).

27

Сюда, ко мне (малаялам).

Купить: <https://telnovel.me/ru/arundati-roy/bog-melochey-kupit>

Текст предоставлен ООО «ИТ»

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию: [Купить](#)